



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

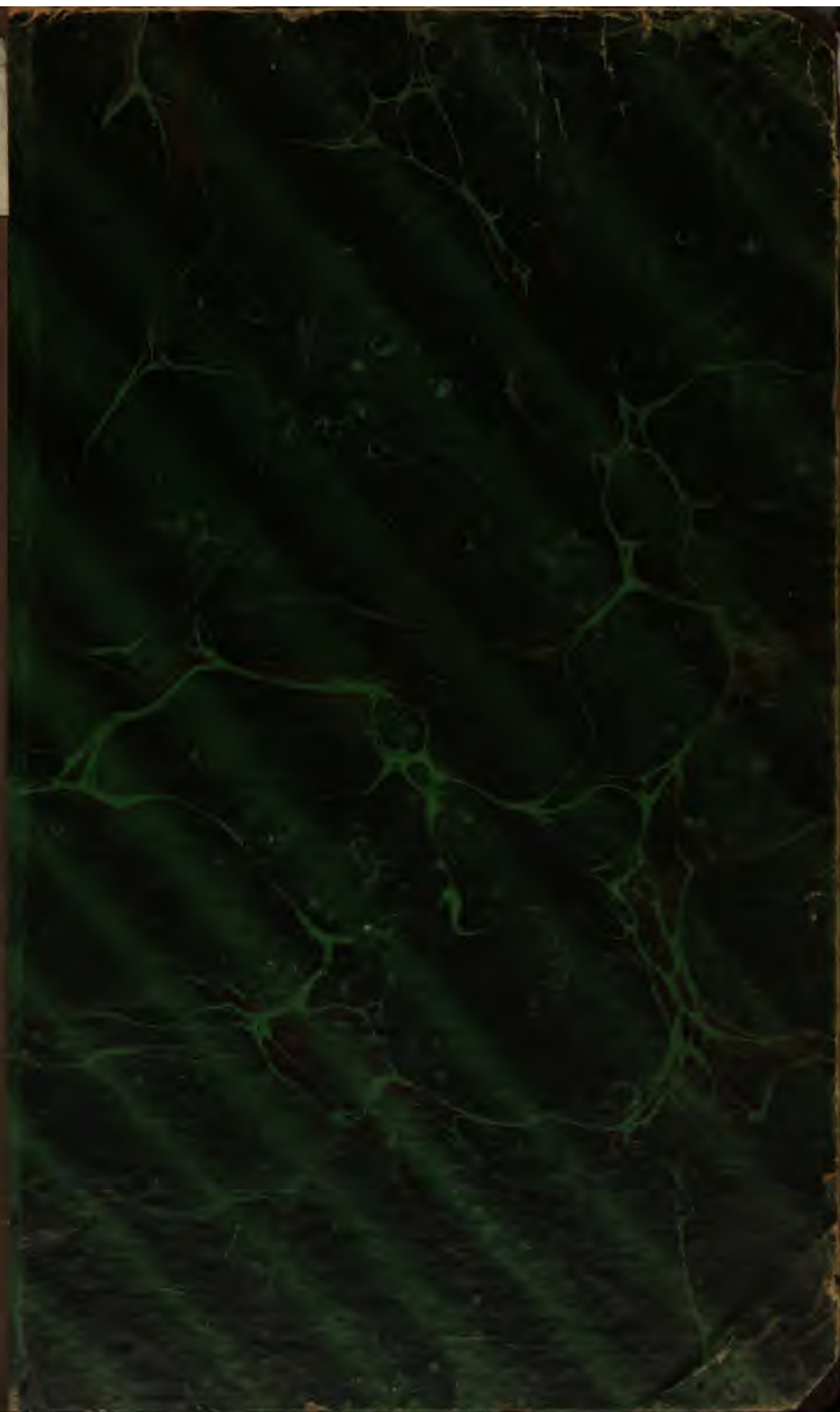
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

PG
3460
D67V5

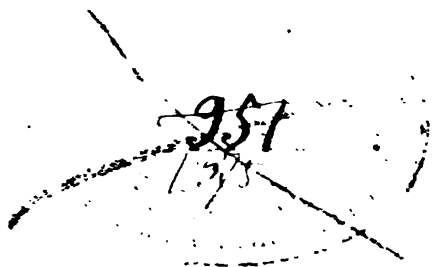


86730

248



396577/69



Doroshewich, V. M. 1008-11
"

В. М. ДОРОШЕВИЧЪ.

Вихрь

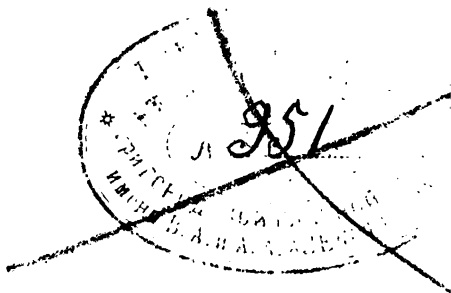
**и другія произведенія
послѣдняго времени.**

Изданіе
Т-ва И. Д. Сытина.

Типогр. Т-ва И. Д. Сытина,  Пятницкая ул., свой домъ.

МОСКВА. — 1906 г.

PG3460
D67V5



В И Х Р Ь.

(Вчерашняя трагедія).

I.

Петръ Петровичъ чувствовалъ себя отвратительно.

Сегодня утромъ, за чаемъ, жена обратилась къ нему съ вопросомъ, который раздается теперь въ каждомъ русскомъ домѣ, въ каждой русской семьѣ, вездѣ, гдѣ встрѣтятся двое русскихъ людей:

— ЧѢМЪ же все это кончится?

Петръ Петровичъ вышелъ изъ себя.

— А чортъ его знаетъ, чѣмъ это кончится. Что я, пророкъ, что ли? — крикнулъ онъ.

Да еще при дѣтяхъ.

Это было дико, „по-хамски“.

Вставая изъ-за стола, Петръ Петровичъ поцѣловаль. Аннѣ Ивановнѣ руку нѣсколько разъ и пожалъ, словно прося прощенія за безобразную выходку.

Но Анна Ивановна не сердилась.

Она посмoтрѣла на мужа съ глубокимъ сожалѣніемъ.

И отъ этого сожалѣнія Петра Петровича дернуло.

Бывали минуты.

Казалось, придется бросить все и эмигрировать за границу.

На сколько времени? Быть-можетъ, совсѣмъ, навсегда.

Но и тогда Анна Ивановна смотрѣла на мужа съ вѣрой.

Теперь съ сожалѣніемъ...

„Такъ сестра милосердія смотритъ на тяжело раненаго, про котораго она знаетъ, что ему умереть“.

Петръ Петровичъ чувствовалъ себя отвратительно.

Теперь онъ шелъ къ жецѣ поболтать, загладить утреннюю сцену.

Но изъ сосѣдней комнаты услыхалъ голоса и остановился.

Ему не хотѣлось видѣть постороннихъ. Не хотѣлось видѣть никого.

Раздавался голосъ Анны Ивановны.

Она говорила нараспѣвъ, жалуясь, съ глубокимъ страданіемъ, то же, что говорятъ теперь въ каждомъ домѣ, въ каждой семьѣ, вездѣ, гдѣ соберется хоть двое русскихъ:

— Что жъ это такое дѣлается? Что дѣлается?

Раздался голосъ Марьи Васильевны.

Она говорила тоже нараспѣвъ и жалуясь.

Всѣ говорили нараспѣвъ и жалуясь!

„Такъ говорятъ только послѣ катастрофы. Когда все сгорѣло или умеръ близкій человѣкъ!“ съ отчаяніемъ подумалъ Петръ Петровичъ.

— Не знаешь, куда дѣться. Въ деревнѣ мужики, въ городѣ какія-то черныя сотни!—жаловалась Марья Васильевна.

— Газеты возмешь, еще страшнѣй!—запѣлъ и зажаловался третій женскій голосъ.— Совсѣмъ война! Убить... убить... раненъ... взрывомъ бомбы... два залпа... пять залповъ... при помощи холоднаго оружія... дѣйствіями кавалеріи... заключено перемиріе... Ратификація

мирнаго договора между татарами и армянами... Прямо съ театра военныхъ дѣйствій!

— Все поднялось, взбаламутилось, — заговорилъ четвертый женскій голосъ, — мужъ говорить: „Не жизнь, а афиша какой-то фееріи, въ которой ничего не поймешь: народъ, казаки, студенты, гимназисты, рабочіе, татары, армяне, тѣлохранители и прочіе“.

Разговоръ, какъ всякій русскій разговоръ, и тяжелый и легкій, начиналъ, видимо, сбиваться на остроуміе.

— Это, знаете, совсѣмъ напоминаетъ бутылку квасу! — раздался вдругъ молодой и веселый голосъ чиновника особыхъ порученій Стефанова.

Петръ Петровичъ даже съ кресла поднялся, на которое было присѣлъ.

„Этотъ еще зачѣмъ у насъ?!“

Все ему было противно въ этомъ юношѣ.

И фамилія.

Степановъ, который переименовалъ себя въ „Стефанова“.

— *C'est plus noble!* Лучше звучить.

И всегда радостный, веселый голосъ, что бы въ губерніи ни дѣлалось.

Въ уѣздѣ „бунтъ“. Двинулись войска. Губернаторъ ѣдетъ:

— На этотъ разъ показать дѣйствительно, что такое власть!

Все кругомъ въ ужасѣ пригнулось, сжалось.

А „Стефановъ“ ѣдетъ за губернаторомъ и говоритъ тѣмъ же радостнымъ и веселымъ голосомъ.

И до мерзости приличная фигура этого искательнаго юноши.

И тайная, робкая страсть, которою онъ считаетъ обязанностью службы сгорать къ губернаторской дочкѣ.

Все.

Все противно, все отвратительно.

Петръ Петровичъ чувствовалъ оскорбленіе, что Стефановъ появился въ его домѣ.

— Стефановъ въ домѣ Кудрявцева!

Это звучало дико.

Это заставляло Петра Петровича дрожать отъ обиды, отъ омерзѣнія.

Все, что онъ ненавидѣлъ, соединилось въ эту минуту въ этомъ „мальчишкѣ“.

„Какъ его приняли? Какъ ему, ему въ голову могло прійти явиться къ намъ?! До чего же, до чего же я дошелъ?!“

Стефановъ говорилъ своимъ молодымъ, веселымъ, радостнымъ голосомъ.

Повторялъ, вѣроятно, въ пятидесятый разъ „удачное“ сравненіе, въ новомъ успѣхѣ котораго заранѣе былъ увѣренъ.

— Это совсѣмъ похоже на бутылку квасу, въ которую пустили изюмину. Все заходило, зашипѣло, закипѣло, изюмина запрыгала, откуда-то пошли какіе-то бѣлые хлопья...

Петръ Петровичъ, не помня себя, дрожа, боясь, что сейчасъ раздастся смѣхъ, шагнулъ къ двери.

Войти.

„Я не позволю въ моемъ домѣ сравнивать мою родину съ какой-то дрянной бутылкой квасу. Какъ вы смѣете, мальчишка, ругаться надъ родиной и шутить въ эти минуты? Подшучивать надъ родной матерью въ то время, какъ она, израненная на-смерть, истекаетъ кровью. Какъ ты смѣлъ дѣлать это въ моемъ домѣ? Вонъ, мерзавецъ!“

Петръ Петровичъ уже взялся за портьеру чтобы отдернуть.

Но остановился.

„Сдѣлать скандалъ съ мальчишкой! Только этого еще мнѣ не доставало!“

Что же случилось? Какъ могло это случиться?

II.

Онъ, Кудрявцевъ.

— Ваше имя — знамя! — сказалъ, весь дрожа отъ волненія, на одномъ изъ банкетовъ какой-то земскій врачъ, котораго онъ никогда не зналъ и не видывалъ раньше.

И эти слова были покрыты громомъ аплодисментовъ.

Все собраніе, полторы тысячи человѣкъ, поднялось и стоя аплодировало Петру Петровичу.

Аплодировало десять минутъ.

Стоялъ сплошной, неумолчный трескъ.

Словно что-то рушилось. Словно трещали и ломались какіе-то заборы и преграды.

Петръ Петровичъ стоялъ, опустивъ голову, словно выслушивая приговоръ, обязываясь подчиниться ему.

Стоялъ не кланаясь, задыхаясь отъ поднимавшихся слезъ.

Повторяя всей восторженной, взволнованной, въ какую-то недосыгаемую, святую высь вознесшейся душой „Ганнибалову клятву“:

— Умереть, но не опустить знамени. Ни на вершокъ. Ни на четверть вершка. Чтобъ никому, никому не показалось, что знамя поколебалось. Чтобъ не раздалось крика ужаса однихъ, крика радости другихъ.

Его душа „принимала святое крещеніе въ вожди“.

Такъ онъ опредѣлилъ потомъ въ своихъ запискахъ то, что пережилъ въ эти минуты.

„Гражданинъ“ звалъ его не иначе, какъ Равашолемъ. Губернаторъ...

Губернаторъ человѣкъ военный, говорилъ, что:

— Если бъ въ Версали былъ дѣльный полицмейстеръ, никакой бы и революціи во Франціи не было. И Мирабо бы не пикнулъ.

Губернаторъ звалъ его „Мирабо“.

И говорилъ о немъ не иначе, какъ приходя въ сильнѣйшее волненіе и сжимая кулакъ, какъ „дѣльный полицмейстеръ“:

— Этотъ Мирабо у меня-съ. Это слава Богу, что у меня-съ. Я вотъ его гдѣ держу. И посматриваю: тутъ ли? Да-съ! Это — Мирабо!

Кажется, губернаторъ даже гордился, что именно у него „проживаетъ“ Мирабо. Какъ гордится участковый приставъ, что у него въ участкѣ живетъ миллионеръ.

„Кудрявцевъ“ — это стало именемъ нарицательнымъ.

„Кудрявцевыхъ у насъ мало“, писали однѣ газеты, когда рѣшались рискнуть упомянуть его имя, вопреки циркулярамъ.

„Кудрявцевыхъ развелось слишкомъ много“, писали другія газеты невозбранно, во всякое время.

А „Московскія Вѣдомости“...

Однажды, въ одну изъ самыхъ трудныхъ минутъ, Петръ Петровичъ съ веселымъ, громкимъ смѣхомъ вошелъ къ Аннѣ Ивановнѣ съ „Московскими Вѣдомостями“.

— Аня! Новость!

Въ то время въ домѣ не одного Петра Петровича разучились смѣяться.

Анна Ивановна смотрѣла на смѣющагося мужа съ удивленіемъ.

— Грингутъ совѣтуетъ меня повѣсить!

У Анны Ивановны морозъ пробѣжалъ по кожѣ:

— И ты можешь этому смѣяться?

— А что же?

— Совѣты позволяютъ давать только тѣ, которымъ въ душѣ хотѣлось бы послѣдовать.

— Богъ не выдастъ—Грингмутъ не съѣстъ!

И онъ вырѣзалъ рабочими ножницами Анны Ивановны статью „Московскихъ Вѣдомостей“, чтобы наклеить ее, какъ документъ, въ ту книгу, которую онъ велъ и которая называлась:

„Свидѣтелемъ чему Господь меня поставилъ“.

На первой страницѣ этой книги было написано въ видѣ предисловія:

„Обѣщаюсь и клянусь Всемогущимъ Богомъ показать передъ будущимъ историкомъ все, что мнѣ извѣстно по этому дѣлу, одну сущую правду, ничего не утаивая, не оправдывая виновнаго, не обвиняя невиннаго, не увлекаясь ни дружбой ни родствомъ, ниже страхомъ, въ чемъ мнѣ Господь правды да поможетъ“.

Въ эту книгу онъ ежедневно писалъ все, „чему свидѣтелемъ Господь его поставилъ“.

Онъ началъ вести ее съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ только-только начало начинаться „все это“, и совѣсть, выпрямившись во весь ростъ, сказала властно и повелительно душѣ его:

— Иди!

И онъ велъ свою книгу, свою лѣтопись священно, религиозно, съ благоговѣніемъ, почти трепетомъ.

Даже смѣшное записывая и занося точно съ благоговѣніемъ:

— Каждый кирпичъ тутъ священный, изъ него кладется храмъ: исторія.

Еще въ то время, когда на Руси царила „общественная тишина и спокойствіе“, было тихо-тихо, какъ бываетъ передъ бурей, а дрожавшему отъ безысходнаго отчаянія сердцу съ ужасомъ казалось, что тихо и темно, какъ ночью на кладбищѣ,—рѣчи Петра Петровича о погранныхъ священнѣйшихъ человѣческихъ

правахъ прокатывались по Руси отъ края и до края и среди безпросвѣтнаго мрака сіяли, какъ зарницы отдаленной, но уже идущей грозы.

Газеты торопились ихъ воспроизвести, трепеща: вотъ-вотъ получится циркуляръ:

— На основаніи статьи... воспрещается... перепечатка... обсужденіе...

Цензура была строга къ самому его имени.

Однажды къ нему явился незнакомый ему человѣкъ, фельетонистъ мѣстной газеты:

— Петръ Петровичъ, что же это такое? До чего жъ это дошло.

Фельетонистъ началъ свою статью:

„Настала весна. Все закудрявилось. Кудрявыя стояли бережки. Кудрявыяплыли по синему небу легкія бѣлыя облачка. Куда ни глянь кругомъ, — все въ кудряхъ, все кудрявое. И веселыя, какъ дѣти съ голубыми глазами и кудрявыми льняными волосенками, кудрявыя мысли наполняютъ даже самую облысѣлую, на обточенный бильярдный шаръ похожую, голову“.

Цензоръ вызвалъ къ себѣ редактора по телефону поздно вечеромъ:

— Немедленно!

Гранка была перечеркнута шесть разъ.

Цензоръ кричалъ. И въ его крикъ слышалась даже истерика:

— Я вамъ сказалъ, чтобы безъ аллегорій?! Я вамъ сказалъ?! Опять иносказательная литература въ ходъ?! Подвести меня хотите?! Подвести?!

— Когда? Гдѣ?

— А это-съ? А это-съ?

Цензоръ комкалъ несчастную гранку, словно гадину, которая хотѣла его смертельно ужалить, но которую онъ поймалъ и убилъ и которая теперь безвредна.

— А это-съ? Я сказалъ, чтобъ никакой „весны“ не было!

— Да вѣдь въ апрѣлѣ!

— Хоть бы въ іюлѣ-съ! По мнѣнію вашего г. Васильчикова,—я знаю, кто пишетъ подѣ именемъ „Юса Малаго“, — по мнѣнію вашего г. Васильчикова, я дуракъ? Дуракъ? Да? „Все закудрявилось?“ А? „Закудрявилось?“ Такъ скажите ему, что, слава Богу, не все еще „закудрявилось“. Есть еще, слава Тебѣ Господи, головы и лысыя и не лысыя, у которыхъ никакихъ „кудрявцевскихъ“ или, какъ онъ — скажите, какая тонкость! — изволить называть, „кудрявыхъ“ мыслей нѣту-съ! А если у него „кудрявыя“ мысли, такъ пусть онъ для своихъ литературныхъ прогулокъ подальше ищетъ закоулковъ. Поняли-съ? Слышали-съ?

— Прежде всего, позвольте! Зачѣмъ вы кричите?

— Ахъ, вамъ тонъ моего голоса не нравится? Вотъ какъ-съ! Да-съ? Меня хотятъ куска хлѣба лишить. На меня покушаются. Да-съ! Покушаются-съ! А я долженъ въ ноги кланяться?! Отлично-съ! Такъ вотъ что-съ! Объявляю вамъ прямо-съ! Категорически-съ! Чтобъ въ вашей газетѣ г. Васильчикова больше не было! Ни подѣ „Юсомъ“ ни подѣ какимъ другимъ псевдонимомъ! Чтобъ ноги его, чтобъ духомъ его въ редакціи не пахло. Это мой приказъ! Приказъ! Понимаете, господинъ тонкаго обращенія? Приказъ! Если же у васъ г. Васильчиковъ будетъ хоть въ качествѣ корректора,—я вамъ всѣ статьи зачеркивать буду. Всѣ! До одной!

— Но законъ...

— Законъ гласитъ: „Цензоръ, допустившій...“ Вы меня, батенька, законами не пугайте! Законамъ меня не учить! Слышали? Не смѣть учить меня законамъ! Не беспокойтесь!

И цензоръ передъ самымъ носомъ редактора погрозилъ пальцемъ:

— Не беспокойтесь! Если я перечеркну что-нибудь... и даже зачеркну, чего зачеркивать не слѣдовало... мнѣ ничего не будетъ. А если не дочеркну, меня со службы вонъ-съ! Поняли! Такъ ужъ лучше я перечеркну-съ, чѣмъ не дочеркну. Можете идти!

— Однако...

— Убирайтесь!

Когда прошелъ слухъ...

Извѣстіе это появилось въ иностранныхъ газетахъ, гдѣ фамилію Кудрявцева безбожно перепутывали: во французскихъ газетахъ называли то Кудринцевъ, то Кудряшевъ, въ нѣмецкихъ больше Кудряшкевичъ, въ англійскихъ — Кудряшинскій... Хоть и подъ исковерканнымъ именемъ, какъ всѣхъ русскихъ дѣятелей, — Кудрявцева знала Европа.

Когда прошелъ слухъ, что Кудрявцева арестовали, — въ университетахъ начались волненія. И Петръ Петровичъ долженъ былъ напечатать въ одной изъ газетъ, наиболѣе читаемыхъ молодежью, какое-то письмо съ благодарностью кому-то, за что-то, чтобъ подать голосъ любящему и знающему его русскому обществу, что онъ живъ, здоровъ и невредимъ.

Въ письмѣ самое важное было за подписью:

„Городъ такой-то“.

И русское общество, наученное, какъ никакое другое, особымъ образомъ читать газеты, поняло, что хочетъ сказать ему любимый и уважаемый общественный дѣятель.

И вздохъ облегченія вырвался изъ сотенъ и сотенъ, изъ тысячъ грудей:

— Невредимъ!

Словно съ театра военныхъ дѣйствій вѣсточка!

Уже нѣсколько лѣтъ, какъ въ домѣ Петра Петровича отданъ приказъ разъ навсегда.

— Какія бы телеграммы ночью ни приходили, не будить.

Утромъ почти каждый день, — иногда по нѣсколько сразу, — Петръ Петровичъ читалъ, распечатывая:

— Собравшись... пьемъ... поднимаемъ бокаль...

Изъ столицъ, изъ губернскихъ городовъ, со сѣздовъ, съ годовщинъ, отъ корпорацій, отъ частныхъ людей, часто изъ такихъ трущобъ, какія Богъ ихъ знаетъ, гдѣ и находятся.

Петръ Петровичъ говорилъ съ улыбкой на это вѣчное „пьемъ“:

— Пора бы и перестать.

Онъ замѣчалъ:

— Охота деньги тратить!

Но...

Теперь, когда онъ пересталъ получать телеграммы, когда онѣ оборвались сразу, какъ по командѣ, онъ какъ-то съ грустной улыбкой сказалъ Аннѣ Ивановнѣ:

— Телеграммы... Популярность — это какъ папиросы. Когда куришь, въ сущности, никакого удовольствія не испытываешь. Не замѣчаешь даже. А какъ папиросъ нѣтъ, — чувствуешь ужасное лишеніе.

Если бъ не эта популярность...

Петра Петровича вызывали для внушенія въ Петербургъ.

Онъ долженъ былъ явиться къ самому высокопревосходительству!

Къ самому крутому изъ высокопревосходительствъ.

— Вы позволяете себѣ... — началъ, едва показавшись въ дверяхъ, его высокопревосходительство.

У Петра Петровича бросилась кровь въ голову.

Ему представилась собственная фигура, которую онъ только что мелькомъ видѣлъ въ зеркалѣ, проходя черезъ переднюю.

Высокій, полный, представительный человѣкъ, съ большою черной бородой, съ сильной просѣдью, съ благороднымъ выраженіемъ лица.

И вотъ на него большого, полного человѣка, съ большою посѣдѣвшей бородой, съ благороднымъ лицомъ, — кричатъ какъ на мальчишку.

Петръ Петровичъ употребилъ всѣ усилія, чтобъ сдержаться. Не потому, чтобъ онъ боялся сказать лишнее слово, а для того, чтобъ въ спокойномъ состояніи отвѣтить какъ можно обдуманнѣе и чтобъ отвѣтъ былъ какъ можно сильнѣе.

Вдвоемъ, съ глаза на глаза, онъ говорилъ, какъ будто ихъ слушала вся Россія.

— Прежде всего, я позволю себѣ, — спокойнымъ, ровнымъ и благовоспитаннымъ голосомъ прервалъ онъ его высокопревосходительство, — прежде всего, сказать вашему высокопревосходительству: здравствуйте. А во-вторыхъ, позволю себѣ сказать вашему высокопревосходительству, что вамъ ложно донесли на меня.

— Какъ?!

— Да. Я не глухой. И со мной вовсе не нужно трудиться кричать.

Онъ сказалъ это спокойно, ровно, даже мягко, самымъ звукамъ голоса давая урокъ благовоспитанности.

Его высокопревосходительство потерялъ фразу, которой онъ приготовился начать.

Онъ отступилъ, окидывая Петра Петровича уничтожающимъ взглядомъ, который дѣйствовалъ всегда:

— Вы, г. Кудрявцевъ...

— Меня, ваше высокопревосходительство, зовутъ Петромъ Петровичемъ, — такъ же спокойно, ровно и

мягко перебилъ Кудрявцевъ,—или, если вамъ угодно официально, то я имѣю право, чтобъ меня называли „ваше превосходительство“.

Его высокопревосходительство былъ окончательно выбить изъ тона. Онъ разсердился. Это было ужъ тономъ ниже: онъ долженъ былъ гнѣваться, а не сердиться. Онъ приготовился быть гнѣвенъ и страшенъ, а не сердить.

Онъ разразился монологомъ, въ которомъ выходилъ изъ себя все сильнѣе и сильнѣе, чувствуя, угадывая, замѣчая подъ густыми усами Петра Петровича улыбку.

И закончилъ монологъ фразой, звучащей совсѣмъ ужъ тривиально и не шедшей ни къ мѣсту ни къ лицу:

— Мы съ вами не церемонимся!!!

— Я и не прошу церемониться со мной, — спокойно отвѣтилъ Петръ Петровичъ: — это вопросъ воспитанія. Но приходится поневолѣ церемониться съ закономъ.

— Съ закономъ! — уже совсѣмъ крикнулъ его высокопревосходительство.

Петръ Петровичъ улыбнулся уже открытой улыбкой, во все лицо:

— Это, говорятъ, ваше высокопревосходительство, на Сахалинѣ тюремные смотрители выходятъ изъ себя, когда каторжникъ скажетъ имъ слово: „законъ“. Но здѣсь, ваше высокопревосходительство, еще не Сахалинъ. Я не каторжникъ. Да и вы, ваше высокопревосходительство, не тюремный смотритель. „Законъ“, — здѣсь слово, которое я прошу слушать съ такимъ жъ благоговѣніемъ, съ какимъ я его произношу!

Съ лица Петра Петровича исчезла улыбка.

Игра, которая его забавляла, кончилась. Онъ заговорилъ.

Съ изумленіемъ слушалъ его высокопревосходительство слова, которыя никогда не раздавались въ пріемной.

И, наконецъ, окончательно раздраженный, что все не удалось, что говорить ему, а не онъ говорить, — рѣшилъ сразу оборвать Петра Петровича.

Но Петръ Петровичъ понялъ готовящійся маневръ и предупредилъ:

— Вотъ все, что я хотѣлъ сказать вашему высокопревосходительству! — сказалъ онъ съ легкимъ поклономъ.

Это окончательно вывело его высокопревосходительство изъ себя.

— Хорошо-съ! — сказалъ онъ, круто повернувшись на каблукахъ и пошелъ.

Петру Петровичу захотѣлось пошутить.

— Ваше высокопревосходительство, позвольте добавить еще... — просящимъ тономъ сказалъ онъ.

Его высокопревосходительство при просительномъ тонѣ машинально пріостановился.

— Что еще?

— До свиданья!

Въ отвѣтъ былъ такой взглядъ...

— Прощайте-съ!

И слышно было, какъ хлопнула дверь даже въ другой сосѣдней комнатѣ.

— Я никогда не видалъ, чтобъ человѣкъ былъ такъ великолѣпно вѣбѣшенъ! — со смѣхомъ рассказывалъ пріятелямъ въ номерѣ гостиницы Петръ Петровичъ. — Совсѣмъ бенгальскій тигръ!

— А результатъ? — спрашивали пріятели.

Результатъ, — на какую бы должность ни избирали Петра Петровича, — разъ должность требовала утвержденія, его не утверждали.

— Мирабо неподвиженъ. Ни шагу! Ни взадъ ни впередъ! — торжествуя говорилъ губернаторъ.

А Петръ Петровичъ говорилъ въ сознаніи своей силы:

— Обреченный на ничегонедѣланье, я дѣлаю больше. Если я, — я! — ничего не могу дѣлать, это говоритъ сильнѣе всякихъ дѣлъ и словъ. Это ясно и понятно каждому, какъ иллюстрація. Это производитъ гораздо сильнѣе впечатлѣніе. Передайте, что послѣ каждаго неутвержденія я получаю въ десять разъ больше телеграммъ! — просилъ онъ, чтобъ позлить губернатора.

И вотъ теперь, въ его гостиной, въ домѣ Кудрявцева, сидитъ чиновникъ особыхъ порученій Стефановъ и чувствуетъ себя, какъ у своихъ, какъ дома и сравниваетъ, у Кудрявцева въ домѣ, сравниваетъ Россію съ какой-то бутылкой кваса.

Что же случилось? Какъ это случилось?

III.

— Задумо! Начинается бурно! — замѣтилъ кто-то изъ собравшихся на совѣщаніе.

Въ огромной передней стараго барскаго дома шумѣли.

— Прежде всего, господа, почему насъ держать въ передней? — обратился къ толпѣ истерическій голосъ.

— Да-съ! — и передъ хозяиномъ дома выросъ здоровенный техникъ, широкогрудый, въ синей рубашкѣ подъ растянутой тужуркой. — Передъ вами интеллигентные люди, представители общества, учащая молодежь, сознательные рабочіе, представитель печати, дамы, наконецъ. Вы можете разговаривать въ передней съ просителями на бѣдность. Да-съ! Мы явились не за подачкою. Да-съ! Мы явились требовать того, что намъ принадлежитъ по праву. Да-съ!

— Совершенно вѣрно! — раздалось нѣсколько голосовъ.

— Совершенно вѣрно! Вѣрно! Вѣрно! Совершенно!—
закричала вся толпа.

— Ваше поведеніе, г. Семенчуковъ...

Семенчуковъ, хозяинъ дома, смѣшался:

— Извините, господа... Я къ вамъ вышелъ... Прошу васъ въ гостиную. Но я долженъ предупредить, что это... это не согласіе на ваше присутствіе въ собраніи. Это для переговоровъ. Собраніе, повторяю вамъ, предварительное, частное. Я рѣшительно не понимаю, при чемъ здѣсь посторонняя публика, дамы...

— Развѣ собираются разсказывать неприличные анекдоты, что дамамъ нельзя присутствовать? Да?— воскликнулъ репортеръ.

Въ публикѣ засмѣялись.

— Это частное совѣщаніе, повторяю вамъ,—продолжалъ хозяинъ дома,—земскихъ дѣятелей, городскихъ, приглашенныхъ лицъ.

— Вопросъ о Государственной Думѣ не можетъ быть дѣломъ частнымъ! Это не вопросъ объ именинномъ пирогѣ. Дѣло общественное!—прокричалъ изъ толпы безапелляціонный голосъ.

— Опять канцелярія! И тутъ тайна!—раздался даже съ отчаяніемъ грубый голосъ, вѣроятно, рабочаго.— Чѣмъ же это лучше?..

— Вы начинаете требовать свободы слова, печати, собраній съ того, что воспрещаете гласность! Очень хорошо!—зазвенѣлъ опять голосъ репортера.

— Это вашъ первый экзаменъ!—крикнулъ женскій голосъ.

— Вы срѣзались!

— Ловко! Недурно! Очень хорошо, господа!..

— Господа! Онъ насъ ставитъ виновниками! Онъ насъ ставитъ предъ общественнымъ мнѣніемъ...—бѣгаль среди собравшихся на совѣщаніе Семенъ Семеновичъ

Мамоновъ, бывшій предводитель. — Онъ ставитъ нашъ бланкъ на своемъ запрещеніи. Согласитесь, что это...

— Перепугался? — улыбнулся Петръ Петровичъ Кудрявцевъ.

— Я всегда привыкъ уважать общественное мнѣніе, — огрызнулся Мамоновъ. — Я не околоточный надзиратель, чтобы держаться мнѣнія: „Тащи и не пушай“.

— Да и я, надѣюсь, не околоточный. Ты просто говоришь глупости съ перепугу передъ незнакомымъ дядей: общественнымъ мнѣніемъ! — махнулъ рукой Петръ Петровичъ. — Не волнуйся. Дядя не такой сердитый: за всякій пустякъ тебя въ мѣшокъ не посадить.

— Господа! Но поймите! Собраніе предварительное! Предварительное! — надрывался въ гостиную хозяинъ дома.

— Довольно-съ! — загремѣлъ вдругъ техникъ въ синей рубахѣ.

Лицо у техника пошло красными пятнами отъ волненія. Онъ весь дрожалъ отъ негодованія.

— Товарищи! Прошу слова!

Все стихло.

— Довольно-съ! — гремѣлъ техникъ. — Мы не желаемъ выслушивать готовыхъ рѣшеній въ вашихъ „публичныхъ собраніяхъ“. Да-съ! Вердиктовъ, которые „кассации и апелляціи“ не подлежатъ. Мы сами хотимъ участвовать въ приготовленіи нашихъ судебъ. Въ этомъ вся цѣль движенія. Дѣлайте общественное дѣло на нашихъ глазахъ, подъ общественнымъ контролемъ. Намъ не надо спектаклей-съ, комедій-съ, разученныхъ, срепетованныхъ при закрытыхъ дверяхъ. Обсуждать дѣла такой важности, какъ отношеніе къ этой самой Государственной Думѣ при закрытыхъ дверяхъ, — это кража у общественнаго контроля!

— Bravo!

Гостиная огласилась аплодисментами.

— Но, господа!—Семенчуковъ былъ ужъ весь въ поту.—Вѣдь это же только совѣщаніе нашей, мѣстной, группы! И притомъ частное, предварительное!

— Мы желаемъ, чтобы мѣстная группа отразила мѣстные взгляды!

— Высказывайте ваши взгляды публично! При насъ!

— Въ частномъ домѣ! Поймите же, въ частномъ домѣ! — ужъ хрипло кричалъ Семенчуковъ. — Господа, уважайте хоть вы неприкосновенность частнаго жилища!

— Господа!—какой-то молодой человѣкъ выскочилъ впередъ и замахалъ руками. — Тссс... Слова! Слова!

Среди наставшей тишины онъ заговорилъ голосомъ, дрожащимъ отъ волненія, отъ негодованія:

— Господа! Постановимъ резолюцію: г. Семенчуковъ ставитъ вопросъ о томъ или другомъ отношеніи къ Государственной Думѣ... о томъ или другомъ отношеніи со стороны общества... „своимъ“, частнымъ, домашнимъ дѣломъ. И другіе господа, называющіе себя либералами, радикальными дѣятелями, вполне съ нимъ согласны!

Раздались аплодисменты. Раздались протесты:

— Нѣтъ! Это неправильно! Такъ нельзя! Мы должны спросить мнѣнія остальныхъ!

— Предложить имъ сначала оставить домъ г. Семенчукова, — и тогда...

Толпа двинулась въ залъ.

— Вы не смѣете насъ остановить! Мы должны объясниться! Такой вопросъ!

— Господа, констатирую, — загремѣлъ голосъ колоссальнаго техника, — что всякое воспреещеніе намъ войти въ залъ будетъ мѣрой, носящей полицейскій характеръ!

- Насиліе!
 - Дворниковъ! — раздались насмѣшливые голоса.
 - Остановите силой! Зовите.
- Семенчуковъ весь въ поту отступилъ въ сторону.

IV.

Въ то время, какъ въ гостиной шла вся эта сцена, Мамоновъ, Семенъ Семеновичъ, въ залѣ не говорилъ, а почти кричалъ, стоя поближе къ дверямъ, чтобы слышно было въ гостиной.

Петръ Петровичъ глядѣлъ на него съ добродушной улыбкой:

— Вытянулся! Какъ лошадь на финишѣ. Въ первые радикалы идетъ! Спортсменъ!

Мамоновъ кричалъ:

— Я не понимаю, господа! Почему же? Конечно, впустить! Чего бояться? Собрались на частное совѣщаніе, а выйдетъ нѣчто большее! Получится грандіозный митингъ! Великолѣпно! Постановимъ резолюцію!

— Разумѣется, допустить! — все съ той же добродушной улыбкой говорилъ Петръ Петровичъ, стоя въ группѣ собравшихся, обсуждавшихъ вопросъ, сдѣлать ли совѣщаніе неожиданно публичнымъ или нѣтъ, — пусть займутъ мѣста, аплодируютъ, свистятъ, пусть даже говорятъ! Если бы отъ меня теперь потребовали, чтобъ я и обѣдалъ публично, въ присутствіи учащейся молодежи, сознательныхъ рабочихъ и вообще интеллигенціи обоого пола, — я бы и въ столовую къ себѣ пустилъ эту милую молодую толпу. Пусть свищутъ, какъ я ѣмъ рябчика! Можетъ-быть, поаплодируютъ, что я ѣмъ борщъ съ кашей! Медовый мѣсяцъ политическихъ рѣчей, резолюцій. Гласности на каждомъ шагу. Какъ молодые на каждомъ шагу цѣлуются

Я очень люблю, когда молодые въ медовый мѣсяцъ много цѣлуются. Это хорошо!

— Не узнаю я тебя, Петръ Петровичъ!—сказалъ раздраженнымъ тономъ Мамоновъ. — Положительно, не узнаю сегодня. Словно тебя подмѣнили. Какъ ты можешь!

— Да ты про что?—улыбаясь, обернулся къ нему Петръ Петровичъ. — Вѣдь я за то, что и ты кричишь. Чтобъ выпустили!

— Вообще...

Семень Семеновичъ слышалъ слова Кудрявцева о спортсменствѣ...

— Вообще не понимаю, какъ ты такъ можешь... Вопросъ поставленъ слишкомъ принципиально. Да и вообще! Въмѣсто частнаго, у насъ получится общественное собраніе! Мы постановимъ резолюцію!

— Ну, да! Ну, да! — тономъ все того же добродушія продолжалъ Петръ Петровичъ. — Въмѣсто того, чтобъ обсуждать, разсуждать, выкрикнемъ: „прямой, равной, тайной подачи голосовъ“. Кто-нибудь предложитъ эту „резолюцію“. Кто противъ нея? Вотъ и весь результатъ совѣщанія! Тогда нечего совѣтоваться! Не о чемъ думать, говорить, спорить! Всѣ на этомъ пунктѣ согласны! Достаточно собраться, крикнуть хоромъ, — какъ солдаты кричатъ: „рады стараться!“ — „всеобщей, прямой, тайной подачи голосовъ“ — и разойтись. Дѣло сдѣлали! И въ десять минутъ!

— Ну, да! Ну, да! — насканивалъ Семень Семеновичъ. — „Всеобщей, тайной, равной подачи голосовъ“. А ты, что же, противъ этого? Ты противъ?

— Ты, мой другъ, хорошему самовару подобенъ! — улыбаясь отступалъ отъ него Петръ Петровичъ. — Мы вѣдь тебя знаемъ. Ты какъ „поставилъ“ себя лѣтъ двадцать тому назадъ, такъ и не прокипаешь. То ты кипѣлъ, что все зло Россіи въ золотой валютѣ, и отъ

всякаго встрѣтившагося и подвернувшагося требоваль серебряной валюты. То вдругъ закипѣлъ, что вся гибель Россіи отъ необразованія. И всѣхъ, какъ паромъ, шпарилъ: „Россіи нужны школы! Россіи нужны школы!“ Такъ что отъ тебя знакомые бѣгать начали. Вдругъ ты при нихъ этакую Америку откроешь! Каждому человѣку обидно, если ему такую вещь, какъ для него. новость, сообщаютъ. То вдругъ про народное образованіе, слава Богу, забылъ, но зато про тотализаторъ вспомнилъ: „Уничтожить тотализаторъ!“ И чтобы завтра же у тебя, чтобъ все завтра до полудня было. Теперь ты „всеобщей, тайной, прямой подачи голосовъ“ съ такимъ же жаромъ требуешь, какъ вчера только закрытія тотализатора. Это, конечно, очень похвально съ твоей стороны. Что ты такой хорошій самоваръ! Но только зачѣмъ же ты на людей наскакиваешь? Повѣрь, ей Богу, не хуже тебя знаю, что Монть-Эверестъ—самая высокая гора въ мірѣ...

— Чимборазо!—со злостью крикнулъ Семенъ Семеновичъ.

— Ну, извини, Чимборазо. Но я вѣдь не бѣгаю, не брызжу слюнями, не кричу на истошный голосъ: „Чимборазо—самая высокая гора на свѣтѣ!“

Всѣ кругомъ улыбались.

Улыбался и Петръ Петровичъ, но почему-то—почему, онъ самъ не зналъ—опасливо посматривать въ сторону, гдѣ сидѣлъ новый человѣкъ изъ губерніи—Зеленцовъ.

Зеленцовъ, человѣкъ съ большой кудрявой головой, съ кудрявой бородой, съ пасмурнымъ лицомъ, въ очкахъ, не улыбался.

Онъ, не отрываясь, медленно пилъ стаканъ чаю и, не отрываясь, пасмурно глядѣлъ въ упоръ на Петра Петровича.

И отъ этого взгляда—онъ самъ не понималъ почему—Петру Петровичу становилось неловко.

Его почему-то какъ-то волноваль Зеленцовъ.

— Ну, да! Ну, да! Смѣйся! — размахиваль руками Семень Семеновичъ.

— Да я не сержусь на тебя! — съ улыбкой сказалъ Петръ Петровичъ, чтобъ сгладить рѣзкость отъзвѣта. — Не сержусь, что ты на меня такъ насакиваешь. Я знаю, что ты парень хорошій, и убѣжденій держишься всегда самыхъ лучшихъ, — первый сортъ убѣжденій! А налетаешь на меня, чуть не городовымъ обозваль, — просто... вихрь! Въ вихрь ничего не разберешь. Родного брата не отличишь!

— Нѣтъ, ты не сворачивай! — кипѣль Семень Семеновичъ. — Ну, да! Ну, да! Выкрикнемъ по-твоему: „Всеобщая прямая, тайная подача голосовъ!“ Надо же знамя выкинуть! Прямо! Открыто!

Петръ Петровичъ сдѣлался серьезень, и въ голосѣ его послышалась строгость:

— Семень, не играй знаменами! Ты самъ бывшій военный!

— А это не знамя? Это не знамя?

— Я не хочу только, чтобъ знамена превращались въ простыя затасканныя тряпки. Знамена хранятся бережно и ихъ не таскаютъ „завсегда просто“, какъ говорятъ въ Сибири. А если ты каждому солдату дашь по знамени, чтобъ онъ съ нимъ вѣчно по улицѣ ходилъ, — тогда знамени будетъ такая же честь, какъ барашковой шапкѣ. Не больше. Понялъ? „Всеобщая, прямая, тайная подача голосовъ“ — это голосъ общества? Да? Ну, такъ и голосъ общества, словами Пушкина, „звучать не долженъ попустому“. „Христосъ воскресъ“ говорятъ на Пасхѣ, потому оно величественно и радостно. А если ты будешь къ каждому слову пристегивать, оно будетъ звучать буднично и, въ концѣ-концовъ, даже пошло. Да! Пошло. Самыя лучшія аріи становятся величайшей пошлостью, когда ихъ начи-

наютъ играть всѣ шарманки. „Всеобщая, тайная, прямая подача голосовъ“ — это большія, могучія слова. Я боюсь, чтобъ отъ безпрестаннаго, ни къ селу ни къ городу, „призыванія ихъ“ они не обратились, въ концѣ-концовъ, въ такую же ничего не обозначающую фразу, какъ была: „все обстоитъ благополучно“. Кто вѣрилъ, кто обращать даже вниманіе, когда слышалъ: „Все обстоитъ благополучно“. Я боюсь, чтобъ и эти слова не стерлись, не обезцѣнились, какъ золото отъ слишкомъ большого обращенія. Чтобъ слыша ихъ, ужъ ничье сердце не загоралось больше ни надеждой ни страхомъ. „Это такъ! Это ужъ такая форма!“ Чтобъ они не превратились въ „формальность“. Я помню, былъ какъ-то въ Нижнемъ, на ярмаркѣ. Въ то время въ большой модѣ былъ „маршъ Буланже“. Никуда отъ него не убѣжишь. Вездѣ играли. Такъ вотъ въ саду какомъ-то пьяный купецъ сидитъ за столикомъ, положилъ голову на руки и спитъ. Гулянье кончилось. Оркестръ какой-то финальный галопъ играетъ. Лакей со счетомъ купца будитъ. „Проснитесь, господинъ, по счету платить надоть. Музыка кончается“. Купецъ поднялъ голову, обвелъ кругомъ мутнымъ взглядомъ, прислушался къ музыкѣ. „Опять про Буланже!“ Положить голову на руки и заснуть. Вотъ я и боюсь, чтобъ русское общество, русскій народъ, услыхавъ отъ какого-нибудь съѣзда, отъ какого-нибудь собранія, какъ вопль души вырвавшіяся эти слова, до того ужъ не пріобыкло бы къ этой „формальности“, что не сказало бы „опять про Буланже“ и не заснуло бы.

У Петра Петровича прошло все раздраженіе. Онъ снова говоритъ со своей добродушной улыбкой:

— Что это, на самомъ дѣлѣ? Ногу зашибъ, — болитъ. Зовешь доктора. „Вотъ, докторъ, ногу о мостовую зашибъ, что пропишете?“ — „Для вашей, — говоритъ ноги, — многимъ нужна всеобщая прямая тайная по-

Его почему-то какъ-то волновалъ Зеленцовъ.

— Ну, да! Ну, да! Смѣйся! — размахивалъ руками Семень Семеновичъ.

— Да я не сержусь на тебя! — съ улыбкой сказалъ Петръ Петровичъ, чтобъ сгладить рѣзкость отзыва. — Не сержусь, что ты на меня такъ насакиваешь. Я знаю, что ты парень хорошій, и убѣжденій держишься всегда самыхъ лучшихъ, — первый сортъ убѣжденій! А налетаешь на меня, чуть не городовымъ обозвалъ, — просто... вихрь! Въ вихрь ничего не разберешь. Родного брата не отличишь!

— Нѣтъ, ты не сворачивай! — кипѣлъ Семень Семеновичъ. — Ну, да! Ну, да! Выкрикнемъ по-твоему: „Всеобщая прямая, тайная подача голосовъ!“ Надо же знамя выкинуть! Прямо! Открыто!

Петръ Петровичъ сдѣлался серьезень, и въ голосѣ его послышалась строгость:

— Семень, не играй знаменами! Ты самъ бывшій военный!

— А это не знамя? Это не знамя?

— Я не хочу только, чтобъ знамена превращались въ простыя затасканныя тряпки. Знамена хранятся бережно и ихъ не таскаютъ „завсегда просто“, какъ говорятъ въ Сибири. А если ты каждому солдату дашь по знамени, чтобъ онъ съ нимъ вѣчно по улицѣ ходилъ, — тогда знамени будетъ такая же честь, какъ барашковой шапкѣ. Не больше. Понялъ? „Всеобщая, прямая, тайная подача голосовъ“ — это голосъ общества? Да? Ну, такъ и голосъ общества, словами Пушкина, „звучать не долженъ попустому“. „Христось воскресе“ говорятъ на Пасхѣ, потому оно величественно и радостно. А если ты будешь къ каждому слову пристегивать, оно будетъ звучать буднично и, въ концѣ-концовъ, даже пошло. Да! Пошло. Самыя лучшія аріи становятся величайшей пошлостью, когда ихъ начи-

наютъ играть всѣ шарманки. „Всеобщая, тайная, прямая подача голосовъ“ — это большія, могучія слова. Я боюсь, чтобъ отъ безпрестаннаго, ни къ селу ни къ городу, „призыванія ихъ“ они не обратились, въ концѣ-концовъ, въ такую же ничего не обозначающую фразу, какъ была: „все обстоитъ благополучно“. Кто вѣрилъ, кто обращалъ даже вниманіе, когда слышалъ: „Все обстоитъ благополучно“. Я боюсь, чтобъ и эти слова не стерлись, не обезцѣнились, какъ золото отъ слишкомъ большого обращенія. Чтобъ слыша ихъ, ужъ ничье сердце не загоралось больше ни надеждой ни страхомъ. „Это такъ! Это ужъ такая форма!“ Чтобъ они не превратились въ „формальность“. Я помню, былъ какъ-то въ Нижнемъ, на ярмаркѣ. Въ то время въ большой модѣ былъ „маршъ Буланже“. Никуда отъ него не убѣжишь. Вездѣ играли. Такъ вотъ въ саду какомъ-то пьяный купецъ сидитъ за столикомъ, положилъ голову на руки и спитъ. Гулянье кончилось. Оркестръ какой-то финальный галопъ играетъ. Лакей со счетомъ купца будить. „Проснитесь, господинъ, по счету платить надоть. Музыка кончается“. Купецъ поднялъ голову, обвелъ кругомъ мутнымъ взглядомъ, прислушался къ музыкѣ. „Опять про Буланже!“ Положилъ голову на руки и заснулъ. Вотъ я и боюсь, чтобъ русское общество, русскій народъ, услыхавъ отъ какого-нибудь съѣзда, отъ какого-нибудь собранія, какъ вопль души вырвавшіяся эти слова, до того ужъ не приобыкло бы къ этой „формальности“, что не сказало бы „опять про Буланже“ и не заснуло бы.

У Петра Петровича прошло все раздраженіе. Онъ снова говорилъ со своей добродушной улыбкой:

— Что это, на самомъ дѣлѣ? Ногу зашибъ, — болитъ. Зовешь доктора. „Вотъ, докторъ, ногу о мостовую зашибъ, что пропишете?“ — „Для вашей, — говоритъ ноги, — многимъ нужна всеобщая прямая тайная по-

дача голосовъ“. — „Это какъ?“ — „А очень, — говорить, — просто. Удивляюсь, какъ вы этого не понимаете. Вы обо что ногу зашибли? О мостовую? А мостовыми кто завѣдуетъ? Дума? А можетъ теперешнее обкорначенное городское самоуправленіе что-нибудь дѣлать? Нѣтъ! А кто можетъ поставить городское самоуправленіе въ широкія, ему надлежащія рамки? Единственно — Государственная Дума, избранная на началахъ всеобщаго, равнаго, прямого, тайнаго избирательнаго права. И выходитъ, что безъ прямой, тайной и равной подачи голосовъ такъ вамъ весь вѣкъ и хромать!“ Ну, думаешь, лѣчиться теперь трудно, займусь хоть дѣлами на досугѣ. Дѣла приведу въ порядокъ. Идешь къ адвокату. „Вотъ у меня тутъ тяжба съ сосѣдомъ. Изъ-за клочка земли. Присвоилъ“. — „Понимаю-сь, — говорить, — но, извините, ничего подѣлать невозможно. Тутъ нужна прямая, тайная и равная подача голосовъ! Вѣдь у васъ споръ какой? Земельный? А земельные споры изъ-за чего? Изъ-за полной неясности и спутанности земельныхъ законовъ! Кто же можетъ дать странѣ, странѣ земледѣльческой по преимуществу, ясные, опредѣленные, раціональные, вполнѣ отвѣчающіе запросамъ жизни, земельные законы, какъ не Государственная Дума, избранная на началахъ тайной, равной, прямой подачи голосовъ“. Вотъ вѣдь до чего дошло! Околоточный на-дняхъ заходитъ какія-то казенныя полученія получать. По обычаю всѣхъ околоточныхъ надзирателей, съ „просвѣщеннымъ человѣкомъ“ въ либеральный разговоръ вступаетъ. На службу жалуются. „Трудна, — спрашиваю, — теперь ваша должность?“ А онъ мнѣ пресерьезно: „Необходима, — говорить, — скажу вамъ, прямая, тайная и равная подача голосовъ!“ И даже со вздохомъ. Какъ выношенную мысль! „Вамъ - то, — спрашиваю, — зачѣмъ?“ — „Помилуйте, — говорить, — теперь всѣ кричать: прямая, тай-

ная, равная подача голосовъ. Мѣсть для заключенныхъ нехватаетъ. Все переполнено. Въ участокъ не успѣваешь таскать. Дали бы имъ прямую, равную, тайную подачу голосовъ,—все бы работы меньше было“.

Кругомъ засмѣялись.

— Можетъ-быть, все это и очень остроумно! Можетъ-быть, съ точки зрѣнія, значить, околоточнаго надзирателя, это и справедливо... — раздался вдругъ негромкій, но твердый голосъ.

Передъ смѣявшимся Кудрявцевымъ лицомъ къ лицу стоялъ кудрявый Зеленцовъ и черезъ очки смотрѣлъ въ упоръ на него съ ненавистью, съ поблѣднѣвшимъ лицомъ.

Зеленцовъ заговорилъ.

Всѣ забыли даже о шумѣ въ гостиной и столпились вокругъ.

Зеленцовъ не былъ, собственно, совсѣмъ новымъ человѣкомъ въ губерніи, но онъ долго отсутствовалъ. Въ разговорѣ онъ безпрестанно вставлялъ слово „значить“, — привычка, которую приобрѣтаютъ почему-то всѣ люди, долгое время прожившіе въ Восточной Сибири.

Зеленцовъ началъ тихо и какъ будто немного волнуясь, но съ каждымъ словомъ голосъ его звучалъ тверже, громче.

Это былъ одинъ изъ тѣхъ голосовъ, въ которыхъ звучить что-то властное, которые невольно заставляютъ затихнуть и слушать.

А въ упорно устремленномъ въ глаза Кудрявцеву взглядѣ Зеленцова съ каждымъ словомъ все сильнѣе и сильнѣе разгоралась ненависть и даже — вадрогнулъ Петръ Петровичъ — презрѣніе.

— Все это, повторяю, можетъ-быть, и очень остроумно, что вы и, значить, околоточный надзиратель изволите говорить. Но у нашей арміи одинъ пароль: „все-

общая, равная, прямая и тайная подача голосовъ*, и одинъ, значить лозунгъ: „свобода слова, печати, собраний, неприкосновенность личности“. И иначе быть не можетъ. Нѣтъ двухъ паролей и нѣтъ двухъ лозунговъ. И, значить, не можетъ быть. Мы стоимъ съ бюрократіей лицомъ къ лицу и кричимъ ей нашъ пока боевой кличъ. Но мы сдѣлаемъ все, чтобъ онъ былъ и побѣднымъ. Насъ спрашиваютъ: „Изъ-за чего вы встали? Изъ-за чего вы поднялись?“ И мы каждый разъ отвѣчаемъ одно и то же. Бюрократія отступаетъ частично, значить, отступаетъ. — „Да вотъ мы посторонимся. Можно мирно. Зачѣмъ такъ?“ Но мы наступаемъ грудью. Мы требуемъ: „Вотъ что намъ нужно“. И, значить, повторяемъ. Бюрократія обращается къ той, къ другой, къ третьей нашей арміи, къ тому другому отряду: „Господа...“ Въ отвѣтъ ей мощный, значить, крикъ: „Свобода слова, печати, собраний, неприкосновенность личности и въ этихъ условіяхъ всеобщая, равная, прямая, тайная подача голосовъ“. Всякій отрядъ, всякая, значить, рота, всякій взводъ хочетъ того же, чего вся армія. Никто, нигдѣ не сдается. Напади хоть на одного, — онъ крикнетъ: „Свобода слова, печати, собраний, неприкосновенность личности, и въ этихъ, только въ этихъ, значить, условіяхъ всеобщая, равная, прямая, тайная подача голосовъ!“ Крикъ одного, — какъ крикъ всей арміи. Отступленія нѣтъ! Отступленіе есть только для противниковъ. Вы сказали, значить: „Христосъ воскресъ“. А это наше „Вѣрую“. Это наше „Отче нашъ“. Но читаютъ „Отче нашъ“ одинаково. И надо, чтобъ всѣ знали этотъ символъ нашей вѣры, какъ „Отче нашъ“. И повторяя, мы вырѣзываемъ въ умахъ это. Какъ, значить, Моисей вырѣзалъ на скрижаляхъ заветъ. Неизгладимо! Чтобы, значить, если человѣка разбудите соннаго, — кого бы вы ни разбудили въ странѣ, — и спросите его: „Что дѣ-

латъ?“ — Онъ отвѣтилъ бы вамъ: „Свобода слова, печати, собраній, неприкосновенность личности и въ этихъ условіяхъ всеобщая, равная, прямая, тайная подача голосовъ“. Какъ прочтеть вамъ, значить, среди ночи, спросонья, еще не придя въ себя, человѣкъ „Отче нашъ“.

— Bravo! Bravo! Превосходно! — прервавъ, крикнулъ Семень Семеновичъ Мамоновъ и бросился жать руки Зеленцову.

Тотъ почему-то отстранился.

— Bravo! Вѣрно! Хорошо! — раздалось среди слушателей, которые только что смѣялись разсказу Петра Петровича.

Въ эту минуту въ залъ шумно вошла толпа изъ гостиной.

— Что дѣлать господа? Какъ рѣшите? — растерянный, подбѣжалъ къ собравшимся на совѣщаніе хозяинъ дома.

— А! Не скандалъ же затѣвать! — раздраженно воскликнулъ Петръ Петровичъ, — его всего дергало. — Пусть Семень объявитъ имъ, чтобъ оставались. Это доставитъ ему удовольствіе!

— Отлично!

И Семень Семеновичъ, стоя передъ взволнованной толпой, вошедшей изъ гостиной, ужъ говорилъ:

— Совѣщаніе рѣшило... Господа, нашъ любезный амфитріонъ, Николай Васильевичъ Семенчуковъ, не имѣющій другихъ желаній, кромѣ того, чтобъ представить собравшимся работать при наиболѣе желательной для нихъ обстановкѣ... спросивъ ихъ предварительно, какъ подобало хозяину дома... да... всецѣло присоединяется къ выраженному собраніемъ желанію допустить... то-есть, я хочу сказать, сдѣлать собраніе публичнымъ... Мы постановимъ резолюцію, но не прежде, конечно, какъ исчерпавъ вопросъ и съ до-

стоинством... да... приличнымъ поборникамъ свободы, выслушавъ всѣ мнѣнія за и противъ... Итакъ, господа, соблюдая всѣ правила, которыя предписываетъ намъ оказанное намъ гостепріимство, и поблагодаривъ за него нашего добраго хозяина, приступимъ къ предмету совѣщанія.

Раздались аплодисменты.

— Поздравляю! Съ успѣхомъ!—сказалъ, проходя мимо, Петръ Петровичъ.

Но улыбался онъ теперь криво и сказалъ это не добродушно, какъ всегда, а со злобой.

— Предсѣдателемъ, господа,—воскликнулъ Семень Семеновичъ,—мы изберемъ нашего же любезнаго хозяина! Просимъ!

Раздались жидкіе аплодисменты.

Семенчуковъ конфузливо улыбался, поклонился на одну сторону, на другую.

Но отпилъ воды, поднялся, и голосъ его прозвучалъ твердо и торжественно:

— Предметъ совѣщанія—отношеніе къ Государственной Думѣ.

V.

— Прошу слова!

Петръ Петровичъ рѣшилъ „принять сраженіе“ и поставить вопросъ ребромъ.

Онъ началъ, волнуясь.

Публика, среди которой ужъ разнеслось, что Зеленцовъ „срѣзалъ“ Кудрявцева, превратилась во вниманіе.

— Господа! Есть три отношенія къ Думѣ: бойкотъ, попытка превратить ее сразу въ учредительное собраніе, принятіе на извѣстныхъ условіяхъ Государственной Думы такую, какова она есть. Чтобъ рѣшить, какое отношеніе выбрать намъ, поставимъ кардиналь-

ный вопросъ: что такое Государственная Дума, объявленная манифестомъ 6-го августа? Я говорю: это — побѣда. Это грандіозная, это колоссальная побѣда! Это окончательная побѣда!

Публика всколыхнулась.

Кругомъ было удивленіе.

— Да. Это рѣшительная побѣда! И все, что мы получимъ затѣмъ, будетъ только контрибуціей за эту побѣду! Всѣ побѣды, которыя мы одержимъ потомъ, будутъ только логическимъ, неизбѣжнымъ слѣдствіемъ этой главной побѣды. Это мой тезисъ.

— Блажени довольствующіеся малымъ! — раздался голосъ около Зеленцова.

Это былъ Плотниковъ, маленькій, черненькій человекъ.

„Зеленцовскій подголосокъ! — подумалъ, презрительно скользнувъ по немъ взглядомъ, Кудрявцевъ. — Этотъ будетъ меня травить и „выгонять“, а Зеленцовъ брать на рогатину!“

Это сравненіе себя съ медвѣдемъ придавало силы Петру Петровичу.

Онъ чувствовалъ себя, дѣйствительно, медвѣдемъ, огромнымъ, могучимъ.

Кудрявцевъ говорилъ „одну изъ своихъ рѣчей“.

— Я знаю возраженіе. Сорокъ восемь тысячъ избирателей изъ ста сорока милліоновъ народа — это, дѣйствительно, гора, которая родила мышъ. Право совѣтовать безъ увѣренности, что будешь услышанъ, это небольшое право.

— Блажени довольствующіеся малымъ! — повторилъ Плотниковъ.

Зеленцовъ обернулся къ нему — словно:

— „Молчи!“

— Но, господа, допустимъ и это. Бюрократія пошла на уступку. На маленькую уступку. Она напоминаетъ

гимназистку, которая въ диктантѣ не знаетъ, поставить запятую или не поставить. Она колеблется; не рѣшается и, наконецъ... ставитъ маленькую запятую. Нѣтъ, моя милочка! Нѣтъ ни большой ни маленькой запятой. Есть запятая. Она поставлена! И бюрократія, ставя „маленькую запятую“...

— Теперь врядъ ли время рассказывать анекдоты! — зазвенѣлъ негодующій голосъ Плотникова.

Раздались аплодисменты.

Предсѣдатель звякнулъ колокольчикомъ.

Петръ Петровичъ встряхнулъ головой и повернулся въ сторону Зеленцова съ негодованіемъ:

— Русская рѣчь обывкла украшаться улыбкой. „Улыбка краситъ лицо свободнаго“, говорили еще древніе. Вспомните Герцена, если вамъ угодно: „Въ смѣхѣ есть нѣчто революціонное“...

При этихъ словахъ онъ слегка поклонился Зеленцову.

„Смѣются между собой только равные. Крѣпостные не смѣли смѣяться при господахъ“, — это сказалъ Герценъ.

— Мертвыхъ, значить, пришлось призывать на помощь! — буркнулъ Зеленцовъ.

Въ публикѣ засмѣялись.

— Вы увѣряете, — вспыхнулъ Кудрявцевъ, — что мы ничего не сдѣлали, добившись такой „Государственной Думы“! Ничего? Но, господа! Вы сейчасъ сидите и разсуждаете совершенно спокойно. А мы ѣхали въ ноябрѣ прошлаго года въ Петербургъ, не зная, вернемся ли. Если бы не было ноября, не было бы ни августа ни сегодняшняго дня!

— Что это! Попреки? — поднялъ голосъ Зеленцовъ.

— Святое воспоминаніе. Воспоминаніе, которое свято для меня. Да, господа, уѣзжая въ Петербургъ, мы прощались съ семьями. Мы съѣхались, разные люди.

Среди моих знакомых былъ человекъ, который увѣрялъ... Настоящій русскій дворянинъ, въ коемъ нѣтъ лукавства. Во всей исторіи знающій только французскую, воспитанный на декламации „Comedie Française“. Онъ всю дорогу увѣрялъ меня...

У Семена Семеновича при этихъ словахъ голова ушла въ плечи.

— ... что мы должны разобрать между собой фразы національнаго собранія. Онъ бралъ себѣ:

„Nous sommes ici par la volonté du peuple, et nous ne sortirons, que par la force des baguettes“ *). Какъ онъ произносилъ эту фразу! Мунэ-Сюлли! Словно собрались играть эффектную пьесу передъ биткомъ-набитымъ театромъ. Для него все игра. Наканунѣ онъ пригласилъ меня ужинать съ шампанскимъ: „Быть-можетъ, въ послѣдній разъ!“ Я назвалъ это „послѣднимъ ужиномъ жирондиста“. Онъ сдѣлалъ видъ, что обижается на мой смѣхъ: „Тебѣ все шутки!“ Но былъ въ глубинѣ души очень польщенъ „жирондистомъ“. Какое было настроеніе? Когда, во время преній, онъ перебѣгалъ отъ одного къ другому: „А? Совсѣмъ готовые ораторы! Совсѣмъ готовые! Рѣчи русскаго парламента будутъ телеграфировать во всѣ иностранныя газеты“,—отъ него отшатывались, на него глядѣли съ изумленіемъ, какъ въ церкви смотрѣли бы на человека, который во время обѣдни бѣгалъ бы по молящимся: „Какіе туалеты!“ Это была литургія. И знаете что? Когда дошло до тайнства, когда мы подписали резолюцію, и я взглянулъ на лицо моего легкомысленнаго друга, у меня бы языкъ не повернулся назвать его „жирондистомъ“. Его лицо сіяло. И я оглянулся кругомъ, и у всѣхъ сіяли лица, какъ сіяютъ лица у вѣрующихъ въ свѣт-

*) Мы здѣсь по волѣ народа, и насъ можно выгнать отсюда только штыками.

лый праздникъ. И у меня грудь была полна слезами, какъ бывала полна въ дѣтствѣ послѣ исповѣди и причастія.

Семень Семеновичъ забылъ всѣ обиды и зааплодировалъ:

— Браво!

— Это была пасхальная заутреня.

VI.

— Все это, можетъ-быть, и очень трогательно!— въ упоръ и непримиримо сказалъ Зеленцовъ.—Но были люди, которые, значить, не только „боялись“ попасть въ крѣпость, но и попадали и въ тундры, и въ каторгу, и...

Громъ аплодисментовъ покрылъ его слова.

Семенчуковъ позвонилъ:

— Господа! Господа! Мнѣ кажется, это переходитъ на личности. Не можетъ быть сомнѣнія, что всякій изъ присутствующихъ сдѣлалъ для освободительнаго движенія то, что могъ...

— Всякій ли все, что могъ?!—крикнулъ, глядя въ упоръ на Кудрявцева, Плотниковъ.

— Прошу извинить меня, господа, за отступленіе, которое я позволилъ себѣ, отдавшись воспоминанію, которое будетъ свѣтить мнѣ и грѣть мнѣ душу до конца моихъ дней. Вамъ, можетъ-быть, не понятно это, какъ не понятенъ рассказъ странника о чудесахъ Іерусалима тѣмъ, кто тамъ не былъ. Вернемся къ дѣлу. Я знаю все, что говорятъ противъ „такой“ Думы. Подавать совѣты, которыхъ никто можетъ и не слушать,—право досадное и незавидное. Но право. Возбудить вопросы, которые могутъ похоронить въ долгій ящикъ,—то же, что предложить женщинѣ родить

только хилыхъ и больныхъ дѣтей, которыя умирали бы на вторую недѣлю. Дѣлать запросы, на которые вамъ могутъ отвѣтить Богъ знаетъ когда, черезъ столько времени, что вы сами успѣете забыть о вопросѣ,—это даже не право жаловаться. Жалоба предполагаетъ отвѣтъ. Это право стонать. Но, милостивые государи, страшно, когда васъ бьютъ и „даже плакать не велятъ“. Вотъ тьма и ужасъ. Снова вспомните Герцена: „Страшно быть задушеннымъ въ застѣнкѣ рукой палача, и никто не услышитъ вашего стона“. Право стонать есть ужъ первое человѣческое право.

— Право рабовъ! — крикнуть весь красный Плотноковъ.

— Вѣрно! — какъ изъ пушки выпалилъ огромный техникъ.

Онъ весь ушелъ въ пренія и принималъ въ нихъ участіе всей душой и уже ненавидѣлъ Кудрявцева всей душой, за что,—самъ не зная.

— Великое право для того, кто не имѣлъ даже и этого! — крикнуть Кудрявцевъ. — Это цѣнно, что это только стонъ. Бюрократія и страна лицомъ къ лицу станутъ другъ къ другу. Послѣдняя декорація, — да, не стѣна, а нарисованная только, нарочно нарисованная стѣна, декорація, за которой она пряталась: „Нельзя же всего знать!“ — упадетъ. Она знаетъ. Она слышитъ. Пусть оттягиваютъ отвѣты на самые животрепещущіе вопросы. Пусть для отвѣтовъ запираютъ двери для гласности. Пусть не отвѣчаютъ совсѣмъ. Страна увидитъ, — увидитъ воочию даже для слѣпыхъ, — какъ бюрократія относится къ ея нуждамъ. Это будетъ послѣдній ударъ бюрократіи. Даже слѣпороджденные прозрѣютъ. Пусть запросы превращаются въ безплодные стоны. Стоновъ накопится столько, что не будетъ глухого, которой бы не слышалъ. Господа, бойкотъ — преступленіе! Преступленіе! Преступленіе! — отказываться отъ

того, что мы уже завоевали, какъ бы мало ни было, съ вашей точки зрѣнія, это завоеваніе, хотя бы одинъ шагъ земли. Мы не имѣемъ права передъ страной отказываться и отъ одного шага, который мы для нея уже завоевали. Именемъ жертвъ, которыя вы понесли,—именемъ жертвъ, которыхъ, быть-можетъ, вы не считаете, но которыя понесли мы,—именемъ нашихъ раненыхъ сѣдинъ, изстрадавшихся, измученныхъ сердецъ, сокращенныхъ жизней,—въ какое бы положеніе насъ ни поставили, не будемъ бастовать, будемъ работать, работать. Цѣпляться за всякую малѣйшую возможность что-нибудь сработать. Народъ, общество, какъ хозяинъ въ Евангеліи у рабовъ своихъ, спросить: „Я далъ тебѣ талантъ. Что ты на него сдѣлалъ?“ Не отвѣтимъ ему: „Я зарылъ его въ землю“. Народъ, общество спросятъ насъ: „Вы получили маленькую, крошечную возможность. Копейку! Но что же вы сдѣлали на эту копейку?“ — „Мы бросили ее. Копейка — маленькая деньга“. Такъ нельзя отвѣтить народу. Я знаю народъ...

— Я тоже знаю народъ,—поднялся Зеленцовъ,—отъ здѣшнихъ мѣстъ до Минусинска, и отъ Минусинска, значить, до Якутска...

Цѣлый ураганъ аплодисментовъ грянулъ.

Семенчуковъ тщетно звонилъ и кричалъ, надрываясь, охрипнувъ:

— Господа! Господа!

Это еще больше навинчивало публику.

Минуть черезъ пять удалось возстановить спокойствіе.

— Господа! Предполагается, что всѣ, кто здѣсь присутствуетъ, знаютъ народъ.

VII.

— Благодарю васъ за защиту, г. предсѣдатель. Но, господа, что жъ это такое? Мнѣ не даютъ говорить!

— Хо-хо!—сказалъ вдругъ техникъ.

— Господа! Вы смотрите на насъ какъ на враговъ! Почему?

Въ тонѣ Петра Петровича послышалась глубокая горечь.

„Раненъ!“ подумалъ онъ.

И больше ужъ онъ не представлялся себѣ огромнымъ, могучимъ медвѣдемъ. Медвѣдь истекалъ кровью.

— Мы отвѣчаемъ, значить, на слова!—твердо и въ упоръ ударилъ Зеленцовъ.

— Господа! Пора же намъ перестать витать въ заоблачныхъ какихъ-то сферахъ...

— Изъ „Московскихъ Вѣдомостей“!—крикнулъ Плотниковъ.

— Пора намъ стать практичными. Бойкотъ, сорвать Думу, принять ее и работать, — это вопросы тактические. Поучимся же тактикѣ хоть у японцевъ. Возьмемъ японскую тактику. Да. Не бросать, не гнать, не преслѣдовать, отвоевать хоть маленькую позицію, но окопаться, укрѣпиться: „Она наша!“

— Изволите-съ, значить, на военныя сравненія!—поднялся Зеленцовъ; все его лицо дергало отъ гнѣва и негодованія.—Мы идемъ на штурмъ. Мы тѣсимъ. Мы побѣждаемъ. И насъ, значить, останавливаютъ на какомъ-то несчастномъ выступѣ стѣны. Останавливаютъ среди побѣды! „Довольно! Укрѣпимся на выступѣ!“ За нами горы труповъ-съ, труповъ и... передъ нами побѣда. Это никуда не годится, г. Кудрявцевъ! Значить, не годится. Ха-ха-ха-ха!

Онъ закашлялся тяжелымъ непріятнымъ смѣхомъ.

— Въ спорѣ съ нами вызываютъ мертвыхъ! Прибѣгаютъ къ заклинаніямъ! Японцевъ зовутъ! Ха-ха-ха! Недостаетъ, чтобъ начали вызывать чертей или окропили насъ святой водой! У насъ есть тоже заклинанія, у насъ есть тоже памятки! Нашъ путь вдали вьется лентою, лентою могилы. Горы труповъ, моря крови, всѣ стоны, вздохи въ казематахъ, всѣ стоны, вздохи, отъ которыхъ оглохли бы вы, значить, если бы ихъ собрать всѣ до одина,—все это намъ предлагаютъ продать. За что? За что? Изъ священнаго писанія по-вашему скажу: за чечевичную, значить, похлебку. И когда? Когда мы у побѣды! Цинизмъ съ вашей стороны, г. парламентарь!

— Позвольте!—крикнулъ, словно, дѣйствительно, раненый, Кудрявцевъ.

— Цинизмъ-съ! Повторяю: цинизмъ! Одной пяди уступить не можемъ изъ нашихъ требованій! Передъ тѣми не можемъ...

И среди новаго урагана аплодисментовъ Зеленцовъ сѣлъ, еще потрясая рукою куда-то вдаль.

— Я не отвѣчаю!—отвѣтилъ Кудрявцевъ.

— Передайте нашъ отвѣтъ, г. парламентарь! Другого не будетъ!—крикнулъ Плотниковъ.

— Я не отвѣчаю вамъ!—закричалъ Кудрявцевъ; у него чуть не сорвалось: „Подголосокъ! Шавка!“

Семенчуковъ позвонилъ.

— Благодарю васъ, г. предсѣдатель, за то, что призываете меня къ порядку и необходимому спокойствію. Господа! Устранимъ разъ навсегда недоразумѣніе! „Свобода слова, печати, собраній, и въ этихъ, только въ этихъ условіяхъ, всеобщая, равная, прямая, тайная подача голосовъ въ законодательную, съ правомъ рѣшающаго голоса, Думу; такой же мой символъ вѣры, какъ и вашъ. Я стремлюсь къ тому же, къ чему и вы.

— Да, только на словахъ!—крикнулъ Плотниковъ.

— Я не позволю заподозрѣвать мою искренность!— уже не помня себя, весь красный, какъ ракъ, закричалъ Кудрявцевъ.—Г. председатель, примите мѣры противъ этого господина!

— Оскорбленіе?

Все завопило. Возмущенно поднялось съ мѣсть.

— Недостаетъ позвать полицію!—съ привязомъ кричалъ Плотниковъ. — Крѣпостническая жилка сказалась!

Семень Семеновичъ подбѣжалъ къ Кудрявцеву:

— Оставь. Сегодня ты не можешь говорить. Ты не въ себѣ.

— Убирайся ты отъ меня къ чорту! — огрызнулся Петръ Петровичъ.—Г. председатель, прошу слова. Господа! Господа! Беру назадъ неосторожно, случайно сгоряча вырвавшееся, необдуманное, нежелательное слово. Господа! Въ томъ, что мы сдѣлаемъ, мы должны отдать отчетъ народу, чтобъ онъ далъ намъ свои силы на дальнѣйшую борьбу. Надо знать, кому мы должны отдавать отчетъ. Русскій народъ, прежде всего, практиченъ. О бойкотѣ я уже говорилъ. Попытка сразу превратить Государственную Думу въ учредительное собраніе? Первое же собраніе Государственной Думы будетъ распущено. Такое засѣданіе будетъ только одно.

— Пусть!—мрачно и зловѣще сказалъ Зеленцовъ.

— Вотъ это такъ поставить всѣхъ лицомъ къ лицу!—подкрикнулъ Плотниковъ.

— Вы этого хотите? Да?

— Мы требуемъ заработаннаго нами двугривеннаго. Намъ даютъ, значить, оловянный!—отвѣчалъ Зеленцовъ.—По-вашему, если не даютъ серебрянаго, надо взять и оловянный? Да, значить?

— Но есть другія, насущныя нужды народа. Частичныя улучшенія, не зависящія...

Зеленцовъ поднялся во весь ростъ:

— Длинной рѣчи короткій смыслъ? Вы являетесь къ намъ въ качествѣ примиренца? Примиренецъ, значить?

— Вѣрно!—крикнулъ вдругъ огромный техникъ такъ радостно, что всѣ на него невольно оглянулись.

Въ честнѣйшей и алкавшей, чтобъ на свѣтѣ „все было справедливо“, душѣ своей онъ никакъ не могъ найти отвѣта: за что, собственно, онъ такъ ненавидитъ Кудрявцева?

Чувствуетъ, что ненавидитъ, но за что — не можетъ „формулировать“.

И вдругъ одно слово. Все ясно:

— Примиренецъ!

Справедливая душа техника была рада необычайно. Гора свалилась.

— Примиренецъ!

— Тонъ вопроса? — вспыхнулъ Кудрявцевъ.

— Вопросъ передъ обществомъ, передъ страной, — твердо отвѣтилъ Зеленцовъ, въ тонѣ его звучалъ прокуроръ, — передъ тѣми, кто даетъ полномочія. Мы хотимъ, наконецъ, — онъ подчеркнулъ „наконецъ“, — знать, кто такой, значить, Петръ Петровичъ Кудрявцевъ. Вы за принятіе этой Думы?

— Съ извѣстными, я уже сказалъ, оговорками. Параллельно работая надъ расширеніемъ...

— Безъ околичностей. За работу въ ней въ поставленныхъ рамкахъ. Значить, за „плодотворную“ работу? За принятіе, другими словами. Вы ее принимаете? Да или, значить, нѣтъ? Одно слово. Да или нѣтъ?

— Да!

— Не можемъ!

Зеленцовъ ударилъ рукой по столу:

— Оловяннаго двугривеннаго для страны принять не можемъ. Можемъ принять на себя полномочіе только,

чтобъ потребовать, значить, серебрянаго. Намъ нужна настоящая, полноцѣнная, значить, Дума. Уступокъ и соглашеній не будетъ. Государственная Дума, какъ она должна быть. Конституція. Наше первое и послѣднее, значить, слово. Лозунгъ и пароль.

— Прошу слова!—раздался вдругъ густой голосъ
Всѣ вадрогнули и оглянулись.

Огромный мужичища, наполовину приподнявшись, вопросительно смотрѣлъ на предсѣдателя.

Глаза его горѣли.

— Гордей!—пронеслось среди собравшихся.

— Слово за г. Черновымъ!—сказалъ Семенчуковъ.

Настала мертвая тишина.

Всѣ обернулись и смотрѣли на Гордея Чернова.

И во взглядахъ были и любопытство, и интересъ, и страхъ.

VIII.

Гордея Чернова знали всѣ.

Колоссальный, неуклюжій, ужъ не медвѣдь даже, а мастодонтъ какой-то; онъ самъ себя называть:

— Я—языкъ отъ тысячепудоваго колокола. Изъ стороны въ сторону: бомъ!

Кто-то про него сказать:

— Гордей идетъ жизнью, какъ пьяный улицей,—шатаясь. Сколько онъ заборовъ на своемъ пути повалить!

Другой кто-то замѣтить:

— Не соображаетъ онъ своего роста. Вы на его ручищи посмотрите. Всѣ поплывутъ вровень, а онъ саженками начнетъ. Ручищи! По два взмаху—куда впереди всѣхъ. Всѣ ничего. А онъ съ размаху въ купальню головой треснется!

Общее было мнѣніе всѣхъ, кто съ нимъ имѣлъ дѣло:

— Плохо имѣть такого человѣка противникомъ. Но еще страшнѣй — другомъ и единомышленникомъ.

Куда его только не бросало!

Въ три мѣсяца онъ прочелъ Толстого отъ доски до доски, многое наизусть запомнилъ, — и сдѣлался толстовцемъ.

Со всѣми, какъ онъ говорилъ, „мелочами“ толстовскаго обихода, вегетаріанскимъ столомъ, опрощеньемъ, пахотой земли, онъ покончилъ быстро.

Ввелъ и запахалъ.

Обидѣть его въ эту минуту могъ бы кто угодно.

Даже брачный вопросъ разрѣшилъ безъ затрудненій.

Сказалъ женщинѣ, съ которой прожилъ десять лѣтъ:

— Бери, что тебѣ, по-твоему, надо и уѣзжай. Не до тебя.

Та было начала плакать:

— Да хоть скажи, почему? Что случилось?

Гордей только показалъ на голову:

— Долго объяснять. Тутъ, братъ, совсѣмъ другое теперь.

И явился къ своимъ друзьямъ толстовцамъ:

— Формальности исполнены. Теперь сдѣлаемъ дѣло.

— Какое?

— Я свои земли брошу. Пусть беретъ, кому надо. Вы — банковское директорство, вы — службу на желѣзной дорогѣ.

— Но позвольте! Такъ мы приносимъ больше пользы! Мы печатаемъ, издаемъ...

— Слово — текстъ, фактъ — картинка. Ничего нѣтъ понятнѣе факта, поучительнѣе, сильнѣе, разительнѣе.

Если бы Лютеръ на кострѣ сгорѣлъ, — весь міръ былъ бы лютеранами. Развѣ не правда?

— Позвольте! — отвѣтили ему. — Правда, — это кислородъ. Безъ кислорода жить нельзя. Но въ чистомъ кислородѣ всякое живое существо задыхается. Вы — чистый кислородъ. Вы ни въ какомъ живомъ обществѣ немислимы.

И стали отъ него бѣгать.

Онъ возненавидѣлъ самое ученье — толстовство:

— Разводить двуногихъ божьихъ коровокъ! Ни красы ни радости.

О толстовцахъ отзывался:

— Быть человѣкомъ, какъ всякій, — а воображать себя божьей коровкой! Покорнѣйше благодарю.

Когда его спрашивали:

— Ну, а какъ же Гордей, твое непротивленіе?

Онъ показывалъ свой огромный, волосами обросшій кулакъ:

— Злу? — Вотъ!

Гордей „махнулъ“ за границу.

Въ Парижѣ социалисты приняли оригинальнаго „русскаго эмигранта“ радушно.

Ихъ интересовало все въ немъ: и ростъ и размахъ въ идеѣ:

— Настоящій русскій!

Такъ какъ у него были средства, и на банкетахъ онъ охотно платилъ за сто человѣкъ, его произвели въ князья.

— Prince Tchernoff.

Разсказывали, что онъ очень высокопоставленная особа, что у него конфисковали какіе-то миллионы, что онъ необыкновенно бѣжалъ, сочинили про него цѣлую исторію Ринальдо-Ринальдини, — это только усиливало къ нему всеобщій интересъ.

Но однажды онъ напечаталъ въ газетахъ такое открытое письмо Жоресу относительно вопроса объ отечествѣ, въ которомъ поставилъ онъ въ упоръ такіе вопросы, что вся партія пришла въ ужасъ.

Начались розыски:

— Да кто ему посовѣтовалъ?

— Ни съ кѣмъ не совѣтовался. Самъ!

— Дисциплины партіи не признаетъ!

Всѣ схватились за голову:

— Развѣ же можно такіе вопросы поднимать?! Передъ самыми выборами!

Самъ великій лидеръ рвалъ на себѣ волосы:

— Сколько разъ говорилъ себѣ — съ этими „сынами степей“, русскими, не связываться! Дикіе!!!

Реакціонная пресса подхватила письмо „князя Чернова“:

— Что жъ г. Жоресъ не отвѣчаетъ на поставленные съ такимъ благородствомъ, ясностью и прямою неиспорченной цивилизаціей натуры вопросы?

Жоресъ кое-какъ отмолчался, но ужъ вездѣ, куда къ друзьямъ и единомышленникамъ ни приходилъ Гордей, — ему всѣ консьержи съ испугомъ говорили:

— Monsieur нѣтъ дома. И madame тоже! Тоже!

До того былъ вездѣ строгъ приказъ „этого русскаго“ не принимать.

Черновъ „подался“ еще болѣе влѣво. На самый край.

Былъ принять съ распростертыми объятіями.

Но сорвалъ одинъ изъ самыхъ великолѣпныхъ митинговъ.

Присутствовало 10.000 человекъ.

Аплодисменты проносились громами. Крики принимали размѣры урагановъ.

Рѣчи раздавались все горячѣе, горячѣе, горячѣе.

Какъ вдругъ на трибунѣ появился колоссъ Черновъ.

— Гражданки, граждане! Пятнадцать лѣтъ я знаю Парижъ. Пятнадцать лѣтъ я слышу: „Это послѣдняя борьба! Завтра!“ Пятнадцать лѣтъ тому назадъ подлѣ моими окнами на улицѣ шли и пѣли:

„C'est la lutte finale,
Groupons nous. et demain
International
Sera le genre humain“ *).

Сегодня вы запоете, уходя отсюда, то же. Пятнадцать лѣтъ все „завтра“! Зачѣмъ? Когда можетъ вспыхнуть великая социальная революція? Сегодня. Сейчасъ. Правительство ничего не ожидаетъ. Войска въ лагеряхъ. Васъ здѣсь караулятъ двое полицейскихъ. Зачѣмъ пѣть: „завтра“? Идемъ, сейчасъ, сію минуту, поднимать Парижъ. Къ оружію! Я впереди. У меня нѣтъ шансовъ вернуться. Я большой, и въ меня попадутъ въ перваго. Идемъ же! Кто за мной?!

Тѣ были ошеломлены.

Ораторы, только что призывавшіе къ „великому дѣлу“, блѣдные, сбѣжали съ подмостковъ, на которыхъ сидѣлъ комитетъ митинга.

Публика была взволнована:

— Не за тѣмъ пришли на митингъ!

Пришли послушать ораторовъ!

— Вонъ! Долой! Онъ сумасшедшій!

Колоссальный Черновъ стоялъ на подмосткахъ одинъ и гремѣлъ своимъ феноменальнымъ голосомъ, покрывавшимъ шумъ толпы:

— Значить, вы все вали, когда говорили толпѣ! Значить, вы все вали, когда аплодировали призывать!

*) „Это конецъ борьбы. Соединимся, и завтра же исчезнутъ границы, раздѣляющія страны и народы“. (Слова „Интернаціоналки“).

И Черновъ вдругъ завопилъ, махая шляпой:

— Къ чорту вашу анархію!

Всѣ спѣшили потѣсниться и дать мѣсто полицейскимъ, которые пробирались по подмосткамъ, чтобъ закрыть митингъ, „принявшій недозволенный характеръ“.

Чернова, какъ иностранца, выслали. Чему „лидеры“, несмотря на всю ненависть къ насилію, были очень рады.

Черновъ вернулся въ Россію.

Какъ всегда, когда онъ валилъ какой-нибудь заборъ, самъ „совершенно разбитый“.

Отдыхался.

И теперь, услыхавъ слово „конституція“, онъ поднялся съ горящими глазами:

— Прошу слова!

На него всѣ глядѣли съ испугомъ.

Какъ глядятъ на слона, когда онъ проходитъ мимо тростниковыхъ хижинъ.

Что, повалить?

— Совершенный Бакунинъ! — сказалъ около Петра Петровича одинъ старичокъ.

— Чистый Пугачъ! — съ испугомъ вздохнулъ сидѣвшій рядомъ купецъ Силиуяновъ.

А Петръ Петровичъ сказалъ:

— Самумъ.

— Какъ-съ?

Вѣтеръ такой есть въ пустынѣ. Я былъ — вихрь. Зеленцовъ — ураганъ. А это — самумъ. Послѣ самума ничего не остается.

Гордей Черновъ заговорилъ.

Голосъ у него былъ, какъ у протодьякона.

IX.

— Было бы жаль, — рявкнулъ Черновъ, безъ всякихъ даже „господъ“, среди мертвой тишины, — если бы великая страна, мучась и корчась въ родахъ, плюнула конституціей, и только. Океанъ, разбушевавшись въ ураганъ, что сдѣлалъ? Выкинулъ устрицу! Какъ въ сказкѣ, — прекраснѣйшая царица родила... лягушонка! Русскій народъ — единственный, который смотритъ на землю, какъ на стихію. Возьмите вы самаго передового француза, — онъ не доросъ до этого. Кролика убить въ „чужомъ“ полѣ, крыжовнику сорвать, — въ его мозгу — преступленіе. А тутъ крестьянинъ преспокойно ѣдетъ къ вамъ въ лѣсъ деревья рубить. — „Лѣсъ Божій“. Ничей. Никому не можетъ принадлежать. Какъ воздухъ! Стихія. Гляжу я на-дняхъ, мужики у меня по полю ходятъ, руками машутъ, шагами что-то мѣряютъ, колышки какіе-то вбиваютъ. Пошелъ. — „Что дѣлаете?“ Шапки сняли. Въжливо такъ: „Землю твою, Гордей Ивановичъ, дѣлимъ, потому какъ скоро законъ такой выйдетъ, чтобъ всѣ земли міру, — такъ загодя дѣлимся, кому что пахать, чтобъ послѣ время даромъ не терять. Пора будетъ рабочая“. Не прелесть? И такъ говорятъ спокойно, какъ говорятъ объ истинѣ, всѣмъ существомъ признаваемой. Дивятся у насъ, въ газетахъ читаютъ: „Спокойно какъ! Добродушно даже!“ — „Идемъ на возы накладывать!“ — „Идемъ“. Да развѣ кто-нибудь сморкается со злобой, съ остервенѣніемъ? Сморкаются просто. Сморгнулся — и все. Дѣло естественное. И они идутъ просто, какъ на дѣло самое естественное. Законъ же законнаго. И даже вполне увѣрены, что и законъ такой выйдетъ, не можетъ не выйти.

— Чисто мужикъ разсуждаетъ! — громко прошепталъ купецъ Силуановъ.

Онъ-то сказалъ это въ знакъ полного презрѣнія.

А у Петра Петровича отъ этихъ словъ защемило сердце.

— Онъ самъ, — гремѣлъ Черновъ — собственностью былъ. Его самого, какъ боранхъ ценять, продавали. А онъ сквозъ все, сквозъ все вынесъ въ сердцѣ своемъ: земля, какъ воздухъ, — свободная стихія. И этотъ-то народъ съ такою для міра новой, грандіозной мыслью въ умѣ и душѣ, — вы хотите, чтобы что сдѣлалъ? Конституцію, которая у всякаго народишки есть, себѣ устроилъ? Только?

— Но позвольте, коллега! Это... только первая ступень, — крикнулъ Зеленцовъ.

— Безъ ступеней шагнетъ! — покрылъ его своимъ ревомъ Черновъ. — Никакихъ станцій, въ родѣ вашихъ, зеленцовскихъ, никакихъ полустанковъ, въ родѣ г. Кудрявцева! Некогда! На станціяхъ прстоишь, только къ цѣли позднѣе пріѣдешь. Довольно этой лжи и обмана, пользуясь темнотою и непониманіемъ, смѣшивать вопросы политическіе съ экономическими. Довольно морочить людей, чтобы они кровь лили. Завоюютъ они вамъ конституцію. Во Франціи—республика, однако въ рабочихъ при забастовкахъ стрѣляютъ не хуже. Политическіе перевороты экономическихъ вопросовъ нигдѣ не разрѣшаютъ.

— Неправда. Ложь! — закричалъ Зеленцовъ. — Мы добьемся законовъ, регулирующихъ...

— Знаемъ! — опять покрылъ его Черновъ. — Свобода стачекъ. Но и „свобода работы“. Во Франціи, гдѣ-нибудь въ Кармо, забастовали угольщики. Бастуйте! Закономъ стачки разрѣшены. Но стягиваютъ войска. Посылаютъ тридцать провокаторовъ, „желающихъ начать работу“. Комедія! Что тридцать человекъ тамъ, гдѣ три тысячи рабочихъ нужно? Рабочіе мѣшаютъ провокаторамъ войти въ шахты. „Пли!“

Свобода работы! Это уже не „усмиреніе“, это—„охрана работы“. Знаемъ мы эти фокусы! Забастовка — ничего. Но вотъ мальчишки сдуру у фабриканта на дворѣ автомобиль расшибли. Этимъ лѣтомъ было во Франціи. Мэръ — социалистъ — сію минуту къ телефону: „Пришлите войска. Начались насилія“. И въ результатѣ за нѣсколько разбитыхъ какими-то шалунами стеколъ — залпъ. И убитъ рабочій. Дорого за стекла берутъ и въ республикѣ! Выйдите же къ рабочимъ, которымъ вы льстите, называя ихъ „сознательными“, и скажите, — какъ поваръ цыплятъ спрашивалъ: „Вы подъ какимъ соусомъ хотите, чтобы васъ приготовили: подъ бѣлымъ или подъ краснымъ?“ — „Вы какъ, господа, предпочитаете, чтобы въ васъ стрѣляли: для „усмиренія“ или во имя „свободы труда“? Мессіанство — маленькая болѣзнь, которой страдаютъ всѣ народы. Французы думаютъ, что міръ спасутъ они, потому что они создали великую революцію и провозгласили „права человѣка“. Нѣмцы думаютъ, что они спасутъ міръ своей наукой. Даже негры, и тѣ думаютъ, что они больше всѣхъ страдали, а потому они и народъ Мессіи. Въ кочегары нанимаются, въ аду настоящимъ черезъ океанъ переѣзжаютъ, чтобы въ Лондонѣ въ Гайдъ-паркѣ „Европу учить терпѣнью и кротости, теплой вѣрѣ и непрестанной надеждѣ“. А у русскаго народа есть, дѣйствительно, что принести міру новое и чѣмъ перевернуть міръ. Мысль — только у русскаго народа живущую, остальному міру неизвѣстную или, быть-можетъ, позабытую — „земля — стихія“ — принадлежитъ всѣмъ, какъ воздухъ! Не можетъ принадлежать въ отдѣльности никому. Два слова. А какой переворотъ въ мірѣ должны они вызвать. И завтрашній міръ, дѣйствительно, не будетъ похожъ на сегодняшний. Вотъ призваніе русскаго народа, его мессіанство. И объ этомъ мессіанствѣ были

уже пророчества. „Великая социальная революція придетъ съ Востока!“ сказалъ вашъ Карлъ Марксъ.

— Мерсі, значить, за подарокъ Карла Маркса!—крикнулъ Зеленцовъ.—Но мы сошлись не для академическихъ, значить, разсужденій, а для практической дѣятельности. Ваши разсужденія не укладываются ни въ одну программу!

— А вы хотѣли бы море упихать въ тарелку. Хо-хо-хо!

— Лѣшій, прости Господи!—съ испугомъ прошепталъ купецъ Силуяновъ.

— Короче!—вскочилъ, на этотъ разъ Плотниковъ.— Короче! Вы предлагаете бойкотъ Государственной Думѣ?

— Нѣтъ!

Петру Петровичу вспомнился Шалапинъ въ „Мефистофелѣ“:

— Я отвѣчаю: нѣ-ѣ-ѣтъ!

— Выработку чего-нибудь новаго?

— Нѣтъ!

— Такъ что же, значить, наконецъ, дѣлать?—въ отчаяніи закричалъ Зеленцовъ, обезпокоенный тѣмъ, чтобы слова „нелѣпаго колосса“ не произвели впечатлѣнія на присутствующихъ въ публикѣ сознательныхъ рабочихъ.

— Не живите на даровщину! Не старайтесь устроиться на чужой счетъ!— снова загремѣлъ Черновъ.— Не хватайте съ Запада съ чужого плеча ими для себя сшитаго платья. Оно и тамъ-то уже стало узко и тѣсно, и заносилось, и лѣзетъ по всѣмъ швамъ. Внесите въ міровой прогрессъ свое новое, русское слово. Соберите все, что есть въ умѣ, въ сердцѣ, въ душѣ народа-мессіи о землѣ, о собственности. И сдѣлайте изъ этого евангеліе для завтрашняго міра. Формулируйте это въ стройную систему. Создайте изъ этого науку. И принесите міру это новое слово.

— Но сейчас-то! Сейчас, значить, что дѣлать?— въ отчаяніи вопилъ Зеленцовъ.

— Сейчасъ же это и начинайте. А все остальное бросьте. Потому что все остальное ни къ чему. Вы на народѣ, какъ въ сказкѣ о конькѣ-горбункѣ мужики на рыбѣ-китѣ. На спинѣ у него деревней жили, за усами сѣно косили. Какое киту было дѣло, какія они тамъ избы строили: одноэтажныя или двухъэтажныя, курныя, по-черному, или совсѣмъ дома, какъ во всѣхъ городахъ. Нырнулъ китъ—и все, и избы, и мужики, и сѣно, всплыло. Бойкотъ—не бойкотъ! Народъ не замѣтитъ даже, не обратитъ вниманія, что вы тамъ строите, что выстроили. Народъ, какъ планета, движется по своей орбитѣ, которая ему кажется правдой. И нырнетъ онъ, какъ ему полагается, глубоко,—и будь у васъ тогда хоть бюрократическій произволъ, хоть разліберальная конституція, хоть республика,—всплывете вы всѣ наверхъ.

Гордей Черновъ медленно и грузно опустился на мѣсто.

Ни одна душа не зааплодировала.

Всѣмъ стало тяжело и душно.

„Словно, дѣйствительно, во время самума!“ подумалъ Петръ Петровичъ.

Х.

— Пользуйся случаемъ! Пользуйся случаемъ!—шепталъ, задыхаясь, Семенъ Семеновичъ, подбѣжавъ къ Кудрявцеву. — Пользуйся случаемъ, что Гордей Черновъ... Предъ лицомъ общаго врага... Протяни руку Зеленцову...

— Оставь меня!—отвѣчалъ Кудрявцевъ, едва владея собой. — Неужели ты думаешь, что ужъ выше „репутаціи“, „популярности“ такъ-таки и ничего нѣтъ!

Онъ поднялся:

— Господа!

— Слушайте! Слушайте! — комически воскликнул Плотниковъ.

Предсѣдатель взялся за колокольчикъ и укоризненно покачалъ головой Плотникову.

— Господа! Отъ нашихъ разговоровъ запахло кровью. Неужели вы не слышите въ воздухѣ ея отвратительнаго запаха? Что же это? Вооруженное возстаніе, о которомъ мечтаете вы?

— Кто это „вы“? Нельзя ли яснѣе? Въ своемъ, значить, азартѣ г. Кудрявцевъ не отличаетъ социаль-демократовъ отъ социаль, значить, революціонеровъ! — крикнулъ Зеленцовъ.

— Вы вели ваши споры даже на борту „Потемкина“! — огрызнулся Кудрявцевъ. — Нельзя же вести партійныхъ, отвлеченныхъ, теоретическихъ споровъ на спинѣ живыхъ людей. Не мѣсто для академическихъ диспутовъ! Рѣшите ваши споры предварительно. Какъ вамъ угодно. Хоть битвой между собой. И тогда тѣ, кто побѣдитъ, кто уцѣлѣетъ, — приходите съ единой программой вести людей...

— Нельзя же смѣшивать съ такой безцеремонностью теорій. Это, значить, слишкомъ безцеремонно!

— Но нельзя дѣйствовать такъ, какъ дѣйствуете вы! Вооруженное возстаніе? Но пугачевщина — не революція! И человѣкъ, вооруженный вилами, косой, топоромъ, — еще не носитель, по этому самому, свѣтлаго будущаго! „Не приведи Богъ видѣть русскій бунтъ, безсмысленный и беспощадный!“

— Въ публикѣ раздался свистъ.

— Вы свищете Пушкину!

— Вы прячетесь за „иконы“!

— Нѣтъ - съ, я зову всѣхъ говорить начистоту. Да, начистоту. Рѣчь идетъ о десяткахъ, быть-можетъ, сот

няхъ тысячъ человѣческихъ жизней. Нѣтъ ничего ужаснѣе, гибельнѣе неумѣло и не во-время начатыхъ революцій. Подтвержденіе этому вы найдете во всей исторіи. Сто лѣтъ каждый годъ исторія съ каждой страницы кричить это! Да, меня беретъ ужасъ при мысли объ этихъ толпахъ, вооруженныхъ косами, вилами, топорами. И ужасъ не за собственную шкуру. Даже не за моихъ близкихъ. Клянусь, что нѣтъ! Не то, что меня повѣсятъ на воротахъ. За что? Можетъ-быть, за то, что я „баринъ, — значитъ, хочу возстановить крѣпостное право“! Можетъ-быть, кто-нибудь крикнетъ разъяренной, осатанѣлой толпѣ: „Вотъ онъ, рыболовъ-то“. Я сроду рыбы не ловилъ! И меня вздернутъ: „Половили рыбки, довольно!“ Я прихожу въ ужасъ за нихъ самихъ. Я прихожу въ ужасъ при мысли объ этой толпѣ, — поймите же; толпѣ! — идущей противъ войска, — поймите разницу: войска! — противъ скорострѣльныхъ ружей, противъ кавалеріи, противъ артиллеріи, пулеметовъ. Когда начинается революція, начинаются уже военныя дѣйствія.

„Заскакалъ! — спортсменски подумалъ Семенъ Семеновичъ. — Несетъ! Сейчасъ въ яръ и себѣ шею сломишь, экипажъ въ дребезги“.

— Нѣтъ выше преступленія, какъ преступленіе генерала, который ведетъ въ бой войско безъ надежды на побѣду. А вы умѣете руководить военными дѣйствіями?

— Прошу васъ имѣть въ виду одно, — шепталъ Семенъ Семеновичъ, стоя за стуломъ Зеленцова:—г. Кудрявцевъ говоритъ отъ своего имени. Только отъ своего. Онъ не лидеръ. Прошу въ отвѣтахъ насъ съ нимъ не смѣшивать.

— Вы правы, если скажете, что я говорю такъ потому, что во мнѣ нѣтъ темперамента вождя. Я боюсь крови, за исключеніемъ своей собственной. Я могу

умереть. Но я не могу посылать на смерть других. Ни посылать ни вести. Я не могу взяться за дѣло, котораго я не знаю, когда отъ этого зависятъ тысячи и тысячи человѣческихъ жизней. Какъ не могъ бы подписывать смертныхъ приговоровъ. Я не понимаю, я не представляю даже себѣ, какъ можно это дѣлать. Меня беретъ ужасъ при мысли о тысячахъ беззащитныхъ, — грабли, что ли, оружіе? — беззащитныхъ людей, которыхъ выведутъ подъ атаки казаковъ, подъ залпы пѣхоты, подъ огонь пулеметовъ, „поливающихъ“ толпу струями пуль. Зачѣмъ? Чтобъ побѣжденную, смятую, окровавленную, обезумѣвшую отъ ужаса отдать ее подъ нагайки, подъ плети, подъ розги массовыхъ экзекуцій? Перестаньте прятаться отъ отвѣтственности! Вы обвиняете съ 9-го января въ Петербургѣ правительство, режимъ. Но режимъ — вашъ врагъ. Будьте же логичны, господа. Вѣдь это все равно, что за мукденское пораженіе винить японцевъ. „Зачѣмъ они были такъ сильны!“ Виноваты тѣ, кто проигрываетъ, а не тѣ, кто выигрываетъ сраженіе. Кровь на тѣхъ, кто безъ всякихъ шансовъ на побѣду повелъ людей на бойню...

— Это изъ „Московскихъ Вѣдомостей“!

— Петръ Петровичъ Грингмутъ!

— Пошлите это въ „День“.

— Вы — Шараповъ!

Въ ревѣ никакихъ звонковъ не было слышно.

— Трескъ-съ! Как-кой кумиръ валится! — услышалъ Петръ Петровичъ около себя чье-то даже со вкусомъ произнесенное восклицаніе.

Толпа всякая зла и жестока, когда развѣнчиваетъ своихъ кумировъ. Она срываетъ вѣнки не иначе, какъ съ кусками мяса.

— Вы даже въ злобѣ не можете сказать ничего своего, отъ сердца. Вы далеки отъ жизни, какъ луна

отъ земли! — кричалъ Кудрявцевъ, не помня себя. — Вы теоретики, вы читатели! Вы говорите изъ книгъ и даже ругаетесь изъ газетъ!

Въ эту минуту поднялся купецъ Силуяновъ.

— Совершенно вѣрно все-съ! — сказалъ онъ. — Въ „Гражданинѣ“ князь Владимиръ Петровичъ Мещерскій то же самое пишутъ...

— Ха-ха-ха!

Раздался гомерическій хохоть.

Подвѣски у люстры звенѣли отъ хохота.

„Въ грязи тону!“ въ ужасѣ, отчаяніи, омерзѣніи думалъ Петръ Петровичъ, опускаясь въ кресло.

А хохоть, дружный, искренній, гомерическій, не прекращался.

— Кудрявцева со-о-оло! — гремѣлъ голосъ колоссальнаго техника.

Предсѣдательскаго звонка не слышалъ никто.

И Семенчуковъ, наконецъ, крикнулъ:

— Объявляю перерывъ... Это же невозможно.

XI.

Публика смѣшалась съ собравшимися на совѣщаніе.

Стоялъ шумъ.

Семень Семеновичъ перебѣгалъ отъ группы къ группѣ:

— Господа! Не знаете ли кто стенографіи? Нѣтъ ли стенографа?

Хватался за голову:

— Не пригласить стенографа! Это ужасно, ужасно!

И бѣжалъ дальше:

— Не знаетъ ли кто стенографіи? Сейчасъ столикъ. Ей Богу, есть рѣчи, заслуживающія стенографіи. А?

Зеленцова окружили, жали ему руку.

Изъ центра группы, его окружавшей, только и слышалось:

— Значить... значить... значить...

Очевидно, онъ былъ сильно взволнованъ.

Вокругъ, Гордея Чернова споры были самые горячіе.

И, покрывая гуль голосовъ, гремѣлъ его спокойный протодьяконскій басъ:

— Зовите какъ хотите! Отъ слова не станется. Анархія, — такъ анархія. Все одно, этимъ кончится. Что такое анархія? Я говорю, извѣстно, не про теоретиковъ анархіи, не про анархистовъ-мечтателей, не про Толстого, не про Реклю. Я говорю про анархію дѣйствующую. Это, по-русски перевести, отчаяніе. Въ государствахъ неограниченныхъ надежда—конституція. Въ конституціонныхъ остается еще: республика. А когда люди и въ конституціи и въ республикѣ разочаруются, — все одинъ чортъ! — тогда анархія. Чего жъ по ступенькамъ то итти, ежели можно сразу?

Петра Петровича кто-то осторожно тронулъ сзади за локоть.

Онъ оглянулся: купецъ Силуяновъ:

— Большое спасибо вамъ, ваше превосходительство, какъ вы ловко мальчишекъ отдѣлали!

Петръ Петровичъ отшатнулся отъ него съ отвращеніемъ.

— А намъ за это ничего, стало-быть, не будетъ? — съ улыбкой продолжалъ Силуяновъ.

— За что?

— Да вотъ, что мы такъ... говоримъ... Ну, да что жъ! — тряхнулъ онъ головой. — Дѣло общественное! Ежели и пострадать придется...

„Еще напъется со страху, что его выдерутъ!“ подумалъ Петръ Петровичъ, съ отвращеніемъ глядя на Силуянова.

На Семенчукова насккивалъ весь красный Плотниковъ:

— Вы не имѣли ни малѣйшаго права укоризненно качать мнѣ головой!— кричалъ онъ.— Да-съ! Я никакихъ вашихъ нотацій не принимаю, и никто не давалъ вамъ права. Да-съ. Здѣсь не школа, я не школьникъ, и вы не учитель. Я признаю ваше поведеніе въ качествѣ предсѣдателя непарламентарнымъ, нарушающимъ элементарныя...

— Однако они лѣзутъ напористо!— говорилъ Семенчуковъ, кое-какъ отдѣлавшись отъ Плотникова, подходя къ Петру Петровичу и утирая потъ со лба.— Штурмъ!

— Да!—грустно улыбнулся Кудрявцевъ.—И перерѣжутъ они кого? Только насъ!

Въ немъ не было больше злобы. Онъ былъ просто весь разбитъ.

— Господа!—позвонилъ, наконецъ, Семенчуковъ, подходя къ столу.—Объявляю совѣщаніе открытымъ.

Всѣ заняли свои мѣста.

— Приступимъ къ практическимъ...

Въ эту минуту вбѣжалъ блѣдный, съ перепуганнымъ лицомъ лакей:

— Баринъ... Никифоръ Ивановичъ... Полиція...

Въ залъ вошелъ участковый приставъ, въ полной формѣ, въ новенькомъ съ иголки мундирѣ, съ сіяющимъ кушакомъ, и поклонился такъ, что всякій околоточный надзиратель при видѣ этого поклона сказалъ бы:

— Корректно!

Въ публикѣ запѣли.

XII.

Петръ Петровичъ вернулся разбитый.

На утро, за чаемъ, жена протянула ему газету:

— Что за скверности пишутъ? Съ ума они, что ли...

Петръ Петровичъ прочелъ:

„По независящимъ обстоятельствамъ мы не можемъ дать подробнаго отчета о вчерашнемъ совѣщаніи, закончившемся быстро не по желанію участвовавшихъ... Обсуждался вопросъ объ отношеніи къ Государственной Думѣ. Изъ ораторовъ больше всѣхъ времени отнялъ у публики П. П. Кудрявцевъ. Чтобъ передать полностью содержаніе его рѣчей, достаточно будетъ сказать, что среди всѣхъ присутствовавшихъ лучшихъ представителей нашей интеллигенціи г. Кудрявцевъ нашелъ себѣ только одного сторонника и единомышленника въ лицѣ... извѣстнаго содержателя бакалейныхъ магазиновъ и ренсковыхъ погребовъ, гласнаго думы, первой гильдіи купца Силуянова... Sapiienti sat. Стоило быть столько лѣтъ Кудрявцевымъ для того, чтобъ сдѣлаться Силуяновымъ?! Вотъ ужъ истинно вспомнишь татарскую поговорку: „Какое большое было яйцо, и какая маленькая вывелась птичка!“

— Репортеръ — дуракъ, но фактъ вѣренъ.

Петръ Петровичъ помолчалъ и поднялъ на жену глаза.

Теперь только Анна Ивановна замѣтила, какой у него усталый-усталый взглядъ.

— Какъ жаль, что война кончилась.

— Война?!

— Я поѣхалъ бы на войну въ качествѣ какого-нибудь уполномоченнаго.

Анна Ивановна смотрѣла на больное лицо мужа съ испугомъ, съ тревогой:

— Что случилось? Ради Бога...

Онъ всталъ:

— Послѣ... потомъ... такъ...

И ушелъ къ себѣ.

Въ двѣнадцать часовъ Петру Петровичу подали письмо отъ Мамонова.

Семенъ Семеновичъ писалъ:

„Дорогой Петръ Петровичъ“.

— Уже не „дорогой Петръ“! Ну, ну! „Будь добръ прислать мнѣ всѣ мои черновики проектовъ, докладовъ, отчеты съѣздовъ и т. п. Тебѣ теперь эти бумаги больше не нужны, а мнѣ понадобятся. Жму руку. Твой Семенъ Мамоновъ“.

Петръ Петровичъ улыбнулся, съ улыбкой собралъ всѣ мамоновскія бумаги, съ улыбкой написалъ:

„Милый Семенъ! При неудачахъ пріятно видѣть лица своихъ друзей. Ты показалъ мнѣ пятки. Какъ жаль, что ты не производитель на твоёмъ собственномъ конскомъ заводѣ. Отъ тебя вышла бы удивительно рысистая порода“.

Затѣмъ онъ разорвалъ эту записку и сказалъ человѣку, которому позвонилъ:

— Скажи, чтобъ передали Семену Семеновичу бумаги и сказали просто, что кланяются.

Затѣмъ вернулъ человѣка:

— Поклоновъ никакихъ передавать не нужно. Пусть просто передадутъ бумаги.

И только прибавилъ къ дѣловымъ бумагамъ нѣсколько интимныхъ, дружескихъ писемъ Семена Семеновича:

— Возьми.

Черезъ три дня Петръ Петровичъ встрѣтился съ губернаторомъ.

На лотереѣ-аллегри въ пользу общества, гдѣ председательницей была жена Кудрявцева.

Губернаторъ шелъ къ нему, по обычаю „браво“ откинувъ голову назадъ и нѣсколько на бокъ, съ рукою, протянутой ладонью вверхъ, съ широкой, открытой, радушной и какой-то торжествующей улыбкой:

— Здравствуйте! Радъ видѣть васъ послѣ этого собранія, которое я принужденъ былъ... Крайне сожалею, что прервалъ ваши рѣчи. Крайне! Крайне! Очень радъ, что вы этихъ господъ Мирабо...

„Отставиль!“ съ улыбкой подумалъ Петръ Петровичъ.

— А вашему превосходительству извѣстно все, въ подробностяхъ?

— Я всегда все знаю. Въ мельчайшихъ. Позвольте искренно, отъ души позжать вамъ руку. Поблагодарить и порадоваться...

— Меня тѣмъ болѣе трогаетъ одобреніе вашего превосходительства, что оно ничѣмъ не заслужено. Никогда раньше...

Губернаторъ весело и дружески засмѣялся:

— Кто старое помянетъ, тому глазъ... Вы этихъ Мирабо...

— Во „Королѣ Лирѣ“ есть, ваше превосходительство, прекрасная фраза. Лиръ говоритъ: „И злая тварь милѣй предъ тварью злѣйшей“.

Губернаторъ насупился.

— Ну, зачѣмъ же вы себя... такъ?

И отошелъ.

Въ кругу губернскихъ дамъ и радостно, съ подвигиваньемъ, хихикавшихъ остроумію начальника губерніи чиновниковъ онъ говорилъ:

— Это ничего! Онъ еще къ начальнической ласкѣ не привыкъ. Либераль былъ. Еще дикий. У насъ въ кавалеріи то же. Приведутъ необъѣзженную лошадь. Ее по шеѣ потрепleshъ, — она на дыбы. Отъ ласки на

дыбы, потомъ на ней верхомъ ѣздить можно. Обязится! Привыкнетъ къ ласкѣ начальства!

Чиновники и губернскія дамы смѣялись такъ, словно ежеминутно поздравляли себя съ такимъ начальникомъ губерніи.

А Петръ Петровичъ вечеромъ писалъ въ своихъ запискахъ „Чему свидѣтелемъ Господь меня поставилъ“:

„Покойнаго Н. К. Михайловскаго за то, что онъ подписалъ протестъ въ иностранныхъ газетахъ русскихъ литераторовъ, позвали къ министру фонъ-Плеве.

„Великій критикъ ждалъ „разноса“ и былъ готовъ къ чему угодно.

„Но фонъ-Плеве встрѣтилъ его привѣтливо.

„— Прежде всего долженъ вамъ сказать, что мы вамъ очень благодарны. Вы оказали большую услугу правительству. Вашей борьбой противъ марксистовъ“...

„Сегодня я понялъ, что долженъ былъ чувствовать великій критикъ, слушая эту похвалу“.

И, написавъ это, Петръ Петровичъ вскочилъ.

Кровь прилиwała у него къ головѣ.

— Рано живого, живого еще, господа, хоронить хотите!

Онъ весь дрожалъ. Онъ не могъ разжать зубовъ. А кулаки сжимались такъ, что ногти съ болью впивались въ тѣло.

XIII.

— Смертный приговоръ, — сказалъ весело, со смѣхомъ, Петръ Петровичъ, черезъ недѣлю, возвращаясь домой, — смертный приговоръ Аня!

Анна Ивановна постаралась улыбнуться.

— И приведенъ въ исполненіе: Антонида Ивановна Очкина при встрѣчѣ со мной не отвѣтила на поклонъ и отвернулась.

Антонида Ивановна Очкина говорила про себя:

— Наша губернія не вовсе отсталая. Есть передовые. Передовая — я и еще нѣсколько лицъ.

Другіе опредѣлили ее такъ:

— Дѣти играютъ въ крокетъ, и вдругъ собачонка! Чортъ ее знаетъ, откуда вылетитъ и начинаетъ гонять шары. Избави Боже, если Антонида Ивановна въ серьезный моментъ на игру прибѣжитъ.

Она была народницей, марксисткой, сторонницей стачекъ, противницей стачекъ.

Чаще всего отъ нея слышали:

— Милая! Какъ вы отстали!

Убѣжденія и кофточки она носила только:

— Самыя послѣднія!

И угнаться за нею никто не могъ.

Она вездѣ была первая.

Когда вспыхнула война, Антонида Ивановна закричала первой:

— Будемъ щипать корпію!

— Да корпіи теперь никто не употребляетъ. Теперь — вата.

— Ну, тогда подрубить бѣлье. Это — нашъ долгъ.

Но она же вдругъ объявила:

— Никакой помощи раненымъ оказывать не нужно

И тоже добавила:

— Нашъ долгъ!

— Но почему? Почему?

— Какъ вы отстали! Протестъ противъ войны!

— Мѣсяцъ тому назадъ она носилась по городу радостно, читая въ газетѣ о каждомъ избіеніи:

— Чѣмъ хуже, тѣмъ лучше! Чѣмъ хуже, тѣмъ лучше!

Она говорила захлебываясь:

— Читали, какъ избили?! Бойня, настоящая бойня!

— Ужасъ! Чему вы?

— Ахъ, Боже мой! Радуйтесь! Радуйтесь! Чѣмъ хуже, тѣмъ лучше!

Теперь она носилась по городу съ равноправіемъ женщинъ.

И страшно удивлялась, что никого изъ мѣстныхъ инициаторшъ движенія не могла застать дома.

— Скажите мнѣ, гдѣ подписать адресъ? Гдѣ адресъ? У кого адресъ?

Адресъ ходилъ по рукамъ, но когда къ кому-нибудь изъ мѣстныхъ интеллигентныхъ женщинъ, затѣявшихъ этотъ адресъ, подкатывала коляска Антонины Ивановны, въ домъ поднималась суета:

— Скажите, что нѣтъ дома! Что всѣ уѣхали!

И въ домъ молчали и старались не дышать, пока Антонина Ивановна, задыхаясь, говорила горничной:

— Скажите, что пріѣзжала г-жа Очкина, чтобъ подписаться подъ адресомъ! Ищутъ, молъ, гдѣ адресъ! Поняли? Очкина подъ адресомъ! Очкина подъ адресомъ!

На совѣщаніи она не была, о чемъ „даже плакали“! Не приняла въ немъ участія:

— Всей душой! Всей душой!

Гордею Чернову написала письмо:

„Г. Гордей Черновъ! Будьте добры отвѣтить мнѣ, какихъ вы держитесь убѣжденій:

„а) о Богѣ и о религіяхъ вообще;

„б) о первоначальномъ воспитаніи народныхъ массъ;

„в) о примѣнимости болгарской конституціи къ Россіи;

„г) о женской равноправности и вообще о роли женщины въ будущей исторіи.

„По выясненіи этихъ кардинальныхъ вопросовъ я попрошу васъ возложить меня на алтарь борьбы“.

При встрѣчѣ съ Петромъ Петровичемъ она сочла своимъ долгомъ не отвѣтить и отвернулась.

— Гильотинированъ!

Анна Ивановна вскочила съ мѣста:

— Публично? Я удивляюсь, какъ ты можешь смѣяться. Какъ можно такъ относиться? Охъ, какъ же она смѣла?! Я сейчасъ же заѣду къ ней...

— Тсъ...

Петръ Петровичъ взялъ жену за руку и посадилъ рядомъ.

— Не надо. Ты этого не сдѣлаешь. Намъ надо съ тобой поговорить. Я знаю, Аня, ты волнуешься. Ты ѣдишь, споришь за меня, защищаешь...

— Ты объ этомъ уже знаешь?

— Аня, насъ больше не тревожатъ телеграммами по утрамъ. А если я и получаю, онѣ начинаются словами: „Неужели, дѣйствительно, вы...“ Я рву ихъ, не читая, и не отвѣчаю. Аня, я не получаю больше писемъ, подписанныхъ десятками именъ. Письма, которыя я получаю, анонимны. Въ нихъ или брань, площадная брань „измѣннику“, „отступнику“, „перебѣжчику“, даже „продажному человѣку“, даже „Иудѣ“, или благодарности: вы поступили „чѣсно“. „Честно“, — черезъ „ять“. И я не знаю, какія получать больнѣй. Меня извѣщаютъ обо всемъ, и обо всемъ на самой грязной подкладкѣ. Аня! Я получаю анонимныя письма, — какъ же ты хочешь, чтобъ я не зналъ, что моя жена ѣдитъ по городу и „агитируетъ“ за меня? Я знаю, почему ты такъ поступаешь, и благодарю тебя. Но этого не надо... не надо... не надо этого!..

Кудрявцевъ вскочилъ, сжавъ кулаки, сверкая глазами, и заходилъ по комнатѣ:

— Я не хочу, чтобъ по твоей милости еще сказали, что Кудрявцевъ прячется за женскую юбку!

— Петя... — услыхалъ онъ голосъ словно раненаго человѣка..

И отъ этого голоса у него перевернулось сердце.

— Прости!

— Но кто же посмѣетъ? Кто! Про кого? Про Кудрявцева!

Анна Ивановна плакала.

— Аня. Вспомни, въ Парижѣ, за церковью Мадлены, есть памятникъ знаменитому химику Лавуазье. Онъ былъ казненъ во время великой французской революціи. За что? Кто-то сказалъ, что онъ изобрѣлъ средство подмачивать табакъ, чтобъ былъ тяжелѣй. И „врага народа“ гильотинировали. Отрубили голову, а потомъ поставили памятникъ... Аня, мы живемъ въ смутное время: чтобъ думать, разсуждать, чтобъ взвѣшивать, нужно спокойствіе. Въ смутное время не думаютъ, не разсуждаютъ, не взвѣшиваютъ. Смутное время — время летающихъ по воздуху клеветъ. Все-возможныхъ. Какъ тополевыи пухъ въ весеннемъ вихрѣ, крутится и летаетъ въ воздухѣ клевета и на все садится. Сначала отрубятъ голову, а потомъ ужъ на досугѣ, разсудятъ: можно ли было вѣрить.

— Но не могу же я... не могу... не могу молчать... — рыдала Анна Ивановна, припавъ къ его плечу, — когда мы столько боролись, мучились, перестрадали... вынесли все на себѣ... И вдругъ приходятъ какіе-то Зеленцовы... Плотниковы... Плотниковы, какіе-то, мальчишки, дрянъ...

— Аня! Аня! — съ испугомъ воскликнулъ Петръ Петровичъ. — Въ нашемъ домѣ не должно, чтобъ это раздавалось. Въ кудрявцевскомъ домѣ. Я самъ страдаю этимъ, — продолжалъ онъ, понизивъ голосъ, словно исповѣдуясь, словно боясь, что кто-нибудь подслу-

шаетъ то, въ чемъ онъ сознавался, — я самъ ловлю себя... Я часто теперь, читая въ газетахъ что-нибудь страшное, думаю съ радостью, со злорадствомъ, Аня, я думаю: „Ага, мальчишки!“ И ловлю себя на этой мысли и зажимаю ротъ своей душѣ. Хуже! Минутами мнѣ даже хочется, чтобъ „они“ ничего не сдѣлали, чтобъ они погибли, погубили другихъ. „Пускай“. Я комкаю тѣ радикальныя газеты, на которыя я же самъ подписался и для которыхъ теперь „Кудрявцевцы“ — чуть не позорная кличка отсталыхъ: „Мерзавцы! Мальчишки!“... И... вчера, чтобъ забыться, я читаль Чехова... Его „Скучную исторію“... Тихаго Чехова... И знаешь что? Даже Чеховъ обжегъ меня своимъ кроткимъ взглядомъ, какъ огнемъ. Я прочелъ, какъ старый профессоръ кричитъ, когда вотъ такъ же раздается: „мальчишки“. — „Замолчите, наконецъ! — кричитъ профессоръ. — Что вы сидите тутъ, какъ двѣ жабы, и отравляете воздухъ своими дыханіями! Довольно!“ И мнѣ послышалось, Аня, что это на меня крикнулъ профессоръ. Не надо, Аня. И я показался себѣ такой же жабой. Намъ не должно быть жабами и отравлять воздухъ своими дыханіями. Не говори этого. Никогда не говори!

И онъ поцѣловалъ въ губы свою жену, словно желая закрыть ей уста этимъ поцѣлуемъ.

— Ты знаешь, Аня, что я чувствую? На-дняхъ, говоря съ губернаторомъ, я вспомнилъ фразу изъ „Короля Лира“.

— Я слышала объ этомъ... И что говоритъ губернаторъ...

— Вотъ видишь! И тебѣ все передаютъ обо мнѣ! Все непріятное! Такъ вотъ я чувствую себя послѣ того засѣданія, послѣ этого разрыва, — смѣйся! — королемъ Лиромъ...

— Еще бы! Неблагодарность!..

— Нѣтъ! Не Лиромъ, котораго выгнала Гонерилья. Не Лиромъ, котораго прогнала Регана. А просто Лиромъ, который разорвалъ съ Корделіей. Мнѣ кажется, что я, поссорившись, разстался навѣкъ со своими собственными дѣтьми... И потерялъ ихъ.

Теперь Анна Ивановна обняла его, грустнаго, убитаго, поникшаго, съ состраданіемъ:

— Ты очень страдаешь, Петя?

Онъ покачалъ головою.

— Нѣтъ. Теперь нѣтъ. Словно упалъ съ Эйфелевой башни. Теперь у меня просто все болитъ и ноетъ. Но на душѣ спокойно: ниже падать некуда!

И при этихъ словахъ и при этомъ тонѣ у Анны Ивановны перевернулась душа.

— Но что же, что же перемѣнилось? Развѣ ты не тотъ же?

— Аня, мы вмѣстѣ пережили жизнь. Ты была мнѣ женой и другомъ. Въ самыя трудныя минуты, тогда даже, когда ты не понимала, что происходитъ, — ты смотрѣла на меня съ вѣрой. Я тотъ же, Аня, и, что бы ни происходило кругомъ, съ такой же вѣрой смотри, — ты можешь смотрѣть на меня.

— Но я привыкла не только вѣрить, — гордиться тобой.

— Тщеславиться мной, Аня, — съ мягкой, нѣжной улыбкой поправилъ Петръ Петровичъ, — видѣть кругомъ общее поклоненіе мнѣ. Этого, только этого больше не будетъ. А гордиться своимъ мужемъ ты можешь. Развѣ можно перестать гордиться человѣкомъ, который откровенно сказалъ, что онъ думаетъ, какъ онъ вѣритъ. Вѣрь, Аня, среди всего, что я сказалъ „тамъ“, не было ни одного слова не продуманнаго, не выстраданнаго, за которое я не пошелъ бы на плаху. Такъ-то, Аня. Мы много пережили и вынесли вмѣстѣ. Перенесемъ же и это послѣднее несчастье, — видитъ Богъ, тягчай-

шее изъ всѣхъ,—такъ, какъ должно добрымъ, умнымъ, честнымъ, — пусть смѣются надъ этимъ словомъ! — двумъ „либеральнымъ“ людямъ.

XIV.

Новая репутація Петра Петровича Кудрявцева, какъ масляное пятно, расходилась по странѣ.

„Гражданинъ“ писалъ:

„Средь нашихъ Равашолей произошелъ расколъ. П. П. Кудрявцевъ, „тотъ“ Кудрявцевъ, „знаменитый“ Кудрявцевъ,—кто бы это могъ подумать еще мѣсяцъ тому назадъ?—оказался недостаточно сумасшедшимъ для нашихъ радикальныхъ болтуновъ. Не знаю, да и мало интересно знать,—какъ мало интересны поступки буйныхъ больныхъ,—чѣмъ именно провинился „лидеръ“ передъ его стадомъ. То ли онъ не пожелалъ отдать половину Россіи инородцамъ, то ли смѣлъ не согласиться, чтобы для большаго привлеченія нашей неуучающейся молодежи въ университеты имъ посадили во время лекцій на колѣни по стриженной барышнѣ. Но фактъ совершился. „Знаменитому“ провозглашена либеральная „анаѣема“, самая свирѣпая изъ анаѣемъ, куда болѣе свирѣпая, чѣмъ та, которую возглашаетъ протодьяконъ Гришкѣ Отрепьеву и ему подобнымъ. Конечно, по человѣчеству, я радуюсь выздоровленію г. Кудрявцева, какъ радуются каждому выздоровѣвшему въ сумасшедшемъ домѣ. Но позволяю себѣ спросить у г. Кудрявцева и его совѣсти: зачѣмъ же онъ, немолодой человѣкъ, столько лѣтъ морочилъ голову тѣмъ самымъ несчастнымъ мальчишкамъ и дѣвчонкамъ, которые теперь ему же изрекаютъ „анаѣему“? Зачѣмъ насаждалъ тотъ „радикализмъ“, отъ котораго въ рѣшительную минуту онъ столь благообразно бѣ-

жалъ подъ „сильную руку“ власти, въ лицѣ мѣстнаго губернатора? А впрочемъ... Въ томъ сумасшедшемъ домѣ, который называется теперь Россіей, все возможно, и я на старости лѣтъ, вблизи отъ конца жизненнаго пути, ничуть не удивлюсь, если услышу, что г. Кудрявцева прочать чуть не въ министры. Ничему не удивляться—привилегія старости и психіатровъ, живущихъ въ сумасшедшемъ домѣ“.

И словно въ отвѣтъ на это, всѣ газеты облетѣла неизвѣстно откуда взявшаяся телеграмма:

„По слухамъ, извѣстный дѣятель П. П. Кудрявцевъ назначается на высокій административный постъ“.

Въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ появилась корреспонденція:

„Событіемъ нашего города, — писалъ какой-то „истинно - русскій человѣкъ“, — служить крамольное собраніе, устроенное безъ дозволенія властей въ домѣ застарѣлаго въ преступномъ либерализмѣ г. Семенчукова. Что только дѣлалось на этомъ „собраніи“ крамольниковъ, измѣнниковъ, торговцевъ своей родиной и прочихъ интеллигентныхъ тварей! Говорили зажига- тельныя рѣчи, плясали безстыдныя пляски (участвовали и дамы изъ породы „интеллигентокъ“) подъ дирижерствомъ извѣстнаго политическаго преступника г. Зеленцова. Особымъ неистовствомъ въ этой преступной вакханаліи, въ пѣніи и пляскахъ (это происходило въ субботу, подъ праздникъ!) отличались какой-то малый въ мундирѣ техника и нѣкій г. Плотниковъ, на преступную политическую дѣятельность котораго, надѣмся, хоть послѣ этого, обратить вниманіе мѣстное начальство въ лицѣ нашего уважаемаго губернатора, который, какъ говорится, шутить не любить. Православные люди, идучи отъ всенощной и проходя мимо ярко освѣщеннаго дома г. Семенчукова, искренно возмущались безобразіемъ. И мы сами

слышали отъ многихъ и многихъ почтенныхъ людей такія пожеланія:

„Разорвать бы ихъ на клочья, сквернавцевъ“.

„Россія была бы продана иноземцамъ собравшимися крамольниками. Но тутъ случилось истинное чудо, которое мы можемъ приписать только справлявшемуся на слѣдующій день празднику. Чудо просвѣтлѣнія вѣчной истиной слабаго человѣческаго разума! Долгое время ошибочно считавшійся „либераломъ“ дворянинъ Петръ Петровичъ Кудрявцевъ не вытерпѣлъ продажныхъ разговоровъ о раздѣлѣ между иноземцами земли русской. Вскипѣло его русское сердце, и возговорилъ бояринъ и отдѣлалъ интеллигентную шушеру такъ, что она, какъ говорится по-русски, до новыхъ вѣниковъ не забудеть. Какъ нѣкій новый бояринъ князь Пожарскій, бояринъ Петръ Петровичъ Кудрявцевъ разбилъ враговъ Россіи въ пухъ и перья, за что, какъ мы слышали изъ вѣрныхъ рукъ, онъ получилъ ужъ благодарность со стороны начальства. Теперь всѣ благомыслящіе люди нашего города любятъ и благоговѣютъ доблестнаго боярина Кудрявцева, а крамольники его чураются. Крамольное собраніе, навѣрное, закончилось бы избіеніемъ измѣнниковъ, и не на словахъ только, но бдительная полиція явилась вовремя и, закрывъ преступное сборище, переписала негодаевъ по именамъ, чѣмъ и спасла ихъ отъ ярости народной. Теперь среди благомыслящихъ людей нашего города только и разговоровъ, что слѣдуетъ крамольниковъ качнуть такъ, чтобъ отъ нихъ только клочья полетѣли и, по русскому выраженію, духъ изъ нихъ вылетѣлъ, а боярину П. П. Кудрявцеву, который сталъ всѣмъ вдругъ дорогъ и милъ, словно родной,—честь и слава вѣки вѣковъ!“

Шараповъ прислалъ ему „Пахаря“ и еще какую-то мерзость.

А радикальная печать...

Съ прямолинейностью и жестокостью молодости она клеймила „постепеновца“, „примиренца“, „отсталого“ и „перебѣжчика“.

„Изъ какой могилы, какого давно сгнившаго восьмидесятника, поднялся этотъ смрадъ, который называется г. Кудрявцевымъ?“ въ какомъ-то истерическомъ припадкѣ писалъ одинъ изъ самыхъ ярыхъ радикаловъ.

Имя „Кудрявцевъ“ снова было нарицательнымъ.

Но съ каждымъ днемъ оно становилось все болѣе ругательнымъ и обиднымъ.

Петръ Петровичъ молчалъ и только глядѣлъ широко изумленными, полными ужаса глазами, словно наяву передъ нимъ проносился кошмаръ.

— Минутами мнѣ кажется, ужъ не сошелъ ли я съ ума, и не кажутся ли мнѣ въ галлюцинаціяхъ чудовищныя, невозможныя вещи?!

Анна Ивановна задыхалась среди всего этого:

— Отвѣчай! Опровергай!

— Кому? Кого? Бѣгать по всему городу? Вѣдять по всей Россіи? Бросаться на шею однимъ: „Я вашъ!“ Бить другихъ: „Вы лжете, — я не съ вами!“ Кому отвѣчать, когда всѣ, кого я считаю своими друзьями, считают меня своимъ врагомъ? Кто будетъ меня слушать? Что сказать? Что, что я имъ скажу? Свое „вѣрую“? Я его ужъ сказалъ. Видитъ Богъ, есть ли въ немъ что-нибудь похожее и на все это, на все, что пишутъ, говорятъ, что слушаютъ, чему вѣрятъ.

— Что жъ дѣлать? Что жъ дѣлать?

— Одна изъ тѣхъ обидъ, на которыя можно жаловаться только исторіи. Она разберетъ и вынесетъ приговоръ. Единственная инстанція!

— Послѣ нашей смерти! Но теперь-то, теперь?

— Приникнуть къ землѣ и лежать, и не дышать. Когда несется ураганъ, остается одно: приникнуть къ землѣ и лежать, и ждать, когда ураганъ пронесется, и вновь засвѣтитъ солнце. Тутъ часто въ нѣсколько минутъ околѣнешь, и счастливъ, кто живымъ переждалъ ураганъ и уцѣлѣлъ: ихъ согрѣетъ солнце.

Въ городѣ происходили засѣданія.

Петръ Петровичъ не получалъ на нихъ приглашеній.

Онъ слышалъ только, что Зеленцовъ съ каждымъ собраніемъ „развертывается“ все шире, шире:

— Какъ онъ развертывается! Властитель думъ! — говорити, захлебываясь. — Да-съ, видно, было время человѣку многое обдумать во время трехмѣсячныхъ якутскихъ ночей!

— Русскіе — странный фруктъ. Они лучше всего арѣютъ на крайнемъ сѣверѣ.

Но зато Петръ Петровичъ получилъ извѣстіе, которое его ошеломило.

Въ городѣ образовалось какое-то „отдѣленіе общества истинно-русскихъ людей“.

Подъ предсѣдательствомъ выгнаннаго изъ сословія за растраты кліэнтскихъ денегъ бывшаго присяжнаго повѣреннаго Чивикова.

И первое же засѣданіе „общества“ было посвящено ему, Кудрявцеву.

Была постановлена резолюція:

— Благодарить уважаемаго П. П. Кудрявцева за его истинно-патріотическій подвигъ и горячій отпоръ крамольникамъ страждущей отъ измѣны земли русской.

Петръ Петровичъ нервно вдрагивалъ при каждомъ звонкѣ:

— Они?

Но, вѣроятно, возымѣло дѣйствіе сказанное имъ въ клубѣ:

— Всякаго мерзавца, который осмѣлится явиться ко мнѣ съ благодарностью, лакеямъ прикажу спустить съ лѣстницы!

Благодарность постановили, но принести ее не посмѣли.

Чувство гадливости, чисто физическое чувство тошноты охватывало Петра Петровича:

— Меня отталкиваютъ одни, меня тащатъ къ себѣ за рукава другіе!

Онъ чувствовалъ себя въ положеніи человѣка, котораго мажутъ какой-то отвратительной зловонной грязью.

XV.

— Это возмутительно! Это ужъ Богъ знаетъ что!— вбѣжала однажды въ кабинетъ мужа взволнованная Анна Ивановна.

Она была въ пальто и шляпкѣ, только что вернулась отъ знакомыхъ.

— Ты слышалъ, что вчера произошло у Плотниковыхъ? Я Плотникова не люблю. Но это ужъ превосходить всякую мѣру.

— Что? Что?

— Представь себѣ. Вчера... У Плотниковыхъ собрались. Былъ Зеленцовъ. Говорилъ свои знаменитыя рѣчи: „Значить!“ „Значить!“

— Аня! Аня!

— Я ихъ всѣхъ не люблю за тебя. Я ихъ ненавижу! Ненавижу! Но это... Представь, къ дому явилась толпа. Вотъ эти, вновь образованные. „Истинно русскіе“-то. Черная сотня. Осада! Настоящая осада! Бросали камни въ окна. Кричали: „Выходи!“ Ломились въ двери. Гости должны были прождать до трехъ часовъ ночи, пока явилась полиція. Вывели подъ кон-

воемъ. Плотникову попали камнемъ въ голову. Онъ теперь лежитъ.

— Ужась! Возмутительно! Безобразіе.

— Ты себя представить не можешь, что дѣлается. Я взволнована. Не могу тебѣ рассказать подробно. Но ужась! Ужась! Одинъ ужась! Я сейчасъ видѣла madame Плотникову. Она была, гдѣ я, — у Васильчиковыхъ. Показывала письма, какія они получаютъ ежедневно. Безграмотныя. Съ угрозами смерти. Какіе-то приговоры. „Мы, истинно-русскіе люди и патріоты своего отечества, постановили покончить съ тобой и съ твоими щенятами“. И все это безграмотно, каракулями. Страшно! Какой-то тьмой вѣетъ. Вѣришь ли, самое ужасное въ этихъ письмахъ, это — ихъ безграмотность. Я не могу видѣть этой буквы „ятъ“, которая по нимъ прыгаетъ, — словно ударъ дубиной, — куда ни попадя. Madame Плотникова говорить: „Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ мужъ тогда въ собраніи сразился съ Петромъ Петровичемъ, мы не знаемъ секунды спокойной“...

Петръ Петровичъ вскочилъ:

— Я ѣду къ полицмейстеру. Мнѣ не хотѣлось бы обращаться къ губернатору, но если придется, я поѣду и къ нему. Я поѣду куда угодно...

— Да ты же здѣсь при чемъ?

— Ахъ, матушка! Не желаю же я, чтобы, рассказывая грязныя, отвратительныя, ужасныя исторіи, въ нихъ упоминали имя Кудрявцева. Только этого еще не доставало. Только этого!

И Петръ Петровичъ поѣхалъ къ полицмейстеру.

Полицмейстеръ принялъ Петра Петровича, „въ виду теперешнихъ отношеній губернатора“, немедленно, стараясь быть какъ можно „корректнѣе“...

Онъ любилъ говорить:

— Въ нашемъ дѣлѣ корректность — это все.

Полицмейстеръ „самымъ корректнымъ образомъ“ указаль Петру Петровичу на стулъ и пододвинуль ему серебряный ящикъ съ папиросами:

— Дюбекъ выше средняго. Не угодно ли?

XVI.

— Благодарю васъ! — Петръ Петровичъ мягко отодвинуль серебряный ящикъ съ папиросами. — Я пріѣхаль къ вамъ по чрезвычайно непріятному дѣлу. Вамъ, конечно, извѣстно, что вчера черная сотня...

Полицмейстеръ сдѣлаль безумно удивленное лицо:

— Виновать-съ! Какъ вы сказали?

— Черная сотня!

— Не слыхаль-съ!

Полицмейстеръ съ недоумѣніемъ пожалъ широкими плечами:

— Приходилось, дѣйствительно, въ нѣкоторыхъ бьющихъ на сенсацию уличныхъ листкахъ видѣть такое названіе. Отъ нѣкоторыхъ бьющихъ на популярность адвокатишекъ, докторишекъ, учителяшекъ...

Петръ Петровичъ добродушно улыбнулся:

— Ну, милый г. полицмейстеръ, нельзя же требовать, чтобы всѣ люди были полицейскими! Можно позволить, чтобъ люди были и докторами, и адвокатами, и учителями. Я не знаю, какъ вы называете. Но „черной сотней“ эти банды зоветь не нѣсколько листовъ, а всѣ русскія газеты, за исключеніемъ трехъ-четырехъ. Точно такъ же зовутъ ихъ не нѣкоторые доктора, — или „докторишки“, на полицейскомъ языкѣ, — а вся Россія, опять-таки за рѣдкими исключеніями... Не перебивайте меня. О названіяхъ мы спорить не будемъ. Я не за тѣмъ, конечно, къ вамъ пріѣхаль. Такъ вотъ... Вамъ, конечно, извѣстно, что эти „ху-

лиганы“, или „джентльмены“,—это все равно,—что толпа этихъ господъ произвела вчера возмутительное безобразіе у дома г. Плотникова...

— Мнѣ извѣстно это, какъ все, что случается въ городѣ!— съ достоинствомъ отвѣтилъ полицмейстеръ.

Онъ рѣшилъ „дать урокъ“ этому господину.

— Я васъ поздравляю.

— Не съ чѣмъ. Этотъ же случай извѣстенъ мнѣ въ особенности, такъ какъ только благодаря чинамъ ввѣренной мнѣ полиціи сообщники г. Плотникова, собравшіеся къ нему подъ видомъ гостей, остались не-вредимы и избѣгли негодованія возмущенной толпы. Это еще одинъ случай, когда полиція, именно полиція...

Полицмейстеръ снисходительно улыбнулся:

— ...спасла враговъ существующаго порядка.

И онъ съ гордостью выпалилъ:

— Странная аномалія, похожая на парадоксъ!

— Однако при этомъ парадоксѣ Плотникову проломили голову.

— Могло кончиться и хуже!—наставительно замѣтилъ полицмейстеръ.

— И полиція явилась только въ три часа ночи!

— Полиція является на помощь, когда ее призываютъ. Полиція не можетъ насиловать людей своей помощью!

— Но имъ, можетъ-быть, нельзя было выбраться изъ дома, чтобъ послать за помощью.

— Мнѣ объ этомъ ничего неизвѣстно. Вы говорите: „можетъ-быть“. Значить, и вамъ положительно ничего неизвѣстно. Оставимъ говорить о томъ, чего мы не знаемъ, и перейдемъ къ фактамъ. Мнѣ очень прискорбно, что вамъ, — что именно вамъ — эта исторія передана, очевидно, въ совершенно превратномъ освѣщеніи.

— Почему же „именно мнѣ“?

— Въ виду отношеній къ вамъ г. начальника губерніи, его превосходительства. Если я имѣю удовольствіе видѣть васъ потому, что вы явились жаловаться на дѣйствія полиціи, — я свой взглядъ на это уже изложилъ. Я вижу въ этомъ только новый, случай спасенія полиціей враговъ существующаго порядка. Только! Такъ я и доложилъ по начальству. На основаніи повѣренныхъ фактовъ.

— Рѣчь идетъ о шайкѣ...

— Позвольте-съ! Вотъ вы изволите выражаться: „шайка“. Но позвольте-съ! Если есть люди, которые позволяютъ себѣ кричать разные тамъ „долой“, то на какомъ основаніи я долженъ запрещать людямъ, которые кричатъ: „да здравствуетъ“? Я — полицейскій. Не болѣе! Но и не менѣе! Ни-ка-кихъ „долоевъ“ во ввѣренныхъ мнѣ районахъ я кричать ни-ко-му не дозволю-съ! Пресѣку, и въ самомъ началѣ. И объ этомъ объявлено. Но если, несмотря на объявленіе, тѣмъ не менѣе, позволяютъ себѣ кричать, то у другихъ можетъ явиться совершенно естественно желаніе кричать „да здравствуетъ“. Кажется, логично? И что тутъ можетъ подѣлать полиція? И какъ гг. либералы протестуютъ противъ этого, — рѣшительно не понимаю. Кажется, по законамъ либерализма прежде всего-съ: свобода!

— Рѣчь идетъ не о крикѣ, а о камняхъ.

— До за до-съ, какъ говорится-съ. И къ этому гг. поклонники свободы должны быть приготовлены. Надняхъ, въ собраніи „истинно-русскихъ людей“ присяжный повѣренный Чивиковъ...

— Бывшій!

— Онъ ведетъ дѣло о возстановленіи его въ сословіи. Присяжный повѣренный Чивиковъ очень дѣльно и толково сказалъ: „Что жъ они думаютъ? Мы не выстроимъ консервативныхъ баррикадъ?“ Выстроить!

— Мы отвлекаемся отъ предмета.

— Позвольте-съ. Нѣтъ-съ. Позвольте мнѣ изложить программу. Развернуть, такъ сказать. Тогда вы наглядно увидите, что вы, извините меня, ошибаетесь. Не по своей волѣ! Я не говорю! Васъ ввели въ заблужденіе злонамѣренныя лица.

— Благодарю васъ за оправданія, я въ нихъ не нуждаюсь, — вспыхнулъ Петръ Петровичъ, — и попрошу васъ быть поосторожнѣе въ выраженіяхъ. Мнѣ сообщило обо всемъ этомъ лицо, о которомъ я не позволю... моя жена!

Полицмейстеръ „корректно“ склонилъ голову.

— Мое уваженіе вашей почтенной супругѣ. Но аудіатура алтера парсъ? Плотниковъ долженъ былъ знать. Я полицію поставилъ какъ? Обыватель благонамѣренный, разъ онъ не мутитъ, — долженъ видѣть отъ полиціи чистоту, предупредительность и уваженіе. Послѣднее не требуется, но я отдалъ приказъ: своему обывателю, извѣстному, дѣлай подъ козырекъ! Подзываетъ тебя прилично одѣтый человѣкъ съ извозчика: „гдѣ домъ такой-то“, — дѣлай подъ козырекъ. Если обыватель, какъ обыватель, — не мутитъ. Онъ долженъ жить спокойно и въ возможномъ почетѣ.

— Это дѣлаетъ вамъ честь, а обывателямъ, конечно, удовольствіе, но...

— Такова политика!

— Но ваша внутренняя политика...

— Это политика не моя, а высшихъ лицъ. Я только исполнитель. А ежели обыватель ведетъ себя не какъ слѣдуетъ и мутитъ, — прошу не прогнѣваться. И г. Плотниковъ долженъ былъ это знать. Я приказалъ полиціи быть корректной къ обывателю. Всякій обыватель почтененъ. Но, дорожа честью того учрежденія, въ которомъ я имѣю честь служить и мундиръ котораго я имѣю честь безпорочно носить, — я не могу

приказать ввѣреннымъ мнѣ чинамъ дѣлать подѣ козырекѣ врагамъ существующаго порядка и лишать благонамѣренныхъ и добрыхъ гражданъ покровительства законовъ и полицейскихъ постовъ, — для того, чтобы чины полиціи неотлучно находились при господахъ Плотниковыхъ и охраняли ихъ неприкосновенность издавать возмутительныя клики или говорить зажигательныя рѣчи. Извините-сь, полиція не за тѣмъ поставлена!

— Но вы не можете же, — вы, вашей властью, — объявлять людей внѣ закона!

— Я поступаю по закону-сь. Составляю протоколъ обо всякомъ безобразіи, и если находятся виновные, они передаются въ руки подлежащаго вѣдомства. Осмѣлюсь, однако, спросить, почему именно васъ столь касается означенное обстоятельство? Васъ, кажется, вѣдь у г. Плотникова быть не могло.

— Не дѣло полицейскаго, г. полицмейстеръ, какъ бы онъ высоко ни стоялъ: городской, околоточный, полицмейстеръ, приставъ, — разбирать вопросъ, гдѣ я „могу“ быть, и гдѣ не могу. Г. Плотниковъ — мой противникъ. Мой врагъ, быть-можетъ, по вашей терминологіи...

Г-нъ полицмейстеръ корректно наклонилъ голову:

— Знаю-сь. Съ истиннымъ удовольствіемъ слышалъ о вашей рѣчи, произнесенной на собраніи...

— Это мнѣ все равно, — съ удовольствіемъ, безъ удовольствія.

— И съ благодарностью. Большую услугу оказали намъ. Разбили сплоченность. Полиція больше всего не любитъ сплоченности.

— И это мнѣ все равно! — почти крикнулъ Петръ Петровичъ, чувствуя, что у него краснѣютъ даже ноги. — Мое имя замѣшиваютъ... что съ тѣхъ поръ... и я не хочу... вы понимаете?

Онъ поднялся.

Поднялся и полицмейстеръ:

— Не волнуйтесь. Чтобъ доказать вамъ, до чего полиція корректна къ благонамѣреннымъ гражданамъ, извольте-съ... Противъ дома г. Плотникова будетъ поставленъ городской. День и ночь. Нарочно съ угла постъ переведу.

— Я понимаю васъ!—говорилъ полицмейстеръ, провожая Кудрявцева изъ кабинета.—Великодушіе къ врагу. Я самъ такой! Ваше возмущеніе тѣмъ болѣе почтенно, что вамъ-то, собственно, этой, какъ вы изволите выражаться, „черной сотни“ бояться нечего.

Петра Петровича словно арапникомъ ударили вдоль спины.

У него захватило духъ.

А вечеромъ онъ писалъ въ своихъ „запискахъ“, и слезы стояли у него на глазахъ:

„Въ грязь втоптали, въ грязи утопили, и теперь даже полицмейстеръ ногой наступилъ. Брр...“

XVII.

Страшно удивленный, не успѣлъ еще Петръ Петровичъ отвѣтить лакею, подавшему ему визитную карточку, — какъ портѣры раздвинулись, и въ дверяхъ появился довольно полный человѣкъ, средняго роста, съ волосами до плечъ, съ издерганнымъ лицомъ, съ сильной просѣдью въ бородѣ.

— Позвольте?

— Извините, я...

Вошедшій сдѣлалъ уже шагъ въ кабинетъ.

— Отошлите лакея, прошу васъ. Не надо при лакеѣ... — какимъ-то ужаснымъ французскимъ языкомъ сказалъ онъ.

Кудрявцевъ повернулся:

— Степанъ, иди.

Пользуясь этимъ моментомъ, вошедшій успѣлъ сѣсть и смотрѣлъ теперь на Петра Петровича съ ясной и свѣтлой улыбкой:

— Простите, я вошелъ, не дожидаясь отвѣта на визитную карточку. Пустая формальность! Отвѣтъ былъ извѣстенъ заранѣе: „не принимать“.

— Тѣмъ болѣе, г. Чивиковъ!

— Меня зовутъ Семенъ Алексѣевичъ.

— Тѣмъ болѣе, г. Чивиковъ!

— Это былъ онъ, предсѣдатель мѣстнаго отдѣленія „союза истинно-русскихъ людей“, выгнанный присяжный повѣренный Чивиковъ.

— Тѣмъ болѣе, г. Чивиковъ!

— Тѣмъ не менѣе, я попрошу васъ удѣлить мнѣ полчасъ вашего дорогого времени. Только полчасъ. Всего полчасъ.

Онъ умоляюще показалъ полпальца.

Г-нъ Чивиковъ не терялъ своей ясной и свѣтлой улыбки.

— Я позволю себѣ быть назойливымъ, потому что одушевленъ самыми лучшими намѣреніями. Мнѣ пришла въ голову, пускай, странная, мысль: я хочу, чтобъ вы меня знали!

Петръ Петровичъ усмѣхнулся.

— Это напоминаетъ анекдотъ про одного извѣстнаго русскаго писателя. Онъ пришелъ однажды къ другому русскому писателю, съ которымъ они были врагами. Тотъ былъ удивленъ. „Я пришелъ, чтобъ рассказать вамъ происшествіе, которое со мной случилось. Сегодня утромъ я былъ въ квартирѣ одинъ и услышалъ на лѣстницѣ дѣтскій плачъ. Я вышелъ. Плакала дѣвочка, ученица сосѣдки-портнихи. Хозяйка ее страшно выскла и выбросила на лѣстницу. Я взялъ дѣвочку къ

себѣ, раздѣль ее, чтобъ помазать хоть масломъ рубцы, ссадины, чтобъ утишить боль. Видѣ изстеганнаго дѣтскаго тѣльца пробудилъ приливъ сладострастія, и я... я изнасиловалъ бѣдную дѣвочку". Писатель вскочилъ, полный отвращенія: „Зачѣмъ вы рассказываете мнѣ такія мерзости?" — „Погодите! Потомъ меня охватилъ приливъ раскаянія и ужаса передъ тѣмъ, что я сдѣлалъ. Я подумалъ: „Какъ сильнѣе наказать мнѣ себя? Какую казнь для себя выдумать?" Я рѣшилъ пойти къ человѣку, котораго я ненавижу и презираю больше всѣхъ, и рассказать ему про себя эту мерзость. И вотъ я пришелъ къ вамъ". Если вамъ теперь угодно, г. Чивиковъ, — я васъ слушаю!

Г. Чивиковъ все время слушалъ его внимательно, съ горящими глазами, и затѣмъ снова улыбнулся ясной и свѣтлой улыбкой.

— Остроумно, какъ всегда! Итакъ, я продолжаю. Мнѣ хочется, чтобъ вы меня знали. Вамъ, конечно, извѣстно, что я исключенъ изъ почтеннаго сословія присяжныхъ повѣренныхъ за систематическую растрату кліентскихъ денегъ. Что, если я скажу вамъ: я исключенъ не за это?!

— Ради Бога! У васъ есть свои совѣты, палаты. Оправдывайтесь передъ ними! Меня это не касается!

— Если вы спросите меня, — какъ ни въ чемъ не бывало, продолжалъ г. Чивиковъ, — растрачивалъ ли я кліентскія деньги, я, прямо глядя вамъ въ глаза, отвѣчу: „да". И скажу правду. Если вы тотъ же вопросъ зададите большинству моихъ такъ называемыхъ „коллегъ", они вамъ, такъ же прямо глядя въ глаза отвѣтятъ: „нѣтъ" — и солгутъ. Въ этомъ и вся разниа. Растрата казенныхъ денегъ среди нашего брата явленіе столь же распространенное, какъ ношеніе адвокатскаго значка съ надписью „законъ"!

— Вы лжете, г. Чивиковъ!

— Дѣлается это обыкновенно такъ. Какое-нибудь неожиданно быстрое полученіе. Кліѣнтъ зайдетъ еще недѣли черезъ двѣ. Позаимствуешь временно на собственные надобности двѣсти, пятьсотъ, тысячу, нѣсколько тысячъ. Глядя по калибру адвоката. Ничего дурного! Просто, какой-нибудь спѣшный платежъ. Является кліѣнтъ, ему пополняется изъ денегъ другого кліѣнта. Другому — изъ денегъ третьяго. А попутно перехватываются еще суммы. Тоже какіе-нибудь платежи по дому, женѣ платѣе, въ карты проигралъ, временная заминка въ дѣлахъ, — мало ли что! Надежды: вотъ скоро долженъ получить крупный гонораръ, сразу всѣ прорѣхи заткну. Начинается вожденіе кліѣнтовъ: еще не получилъ. И вертится такъ рабъ Божій, пока въ одинъ прекрасный день не попадетъ на какую-нибудь каналью, безпокойнаго кліѣнта, который ночей не спитъ и самъ вездѣ бѣгаетъ, нюхаетъ. Есть такія крысы, сна на нихъ нѣтъ! „Какъ не получали денегъ, когда еще двѣ недѣли тому назадъ вамъ внесены?“ И испекся! Болѣзнь, повторяю вамъ, общая...

— Вы клевете, г. Чивиковъ!

— И карать за нее одного... Есть подмосковное село такое, Большіе Мыгищи. Все населеніе, поголовно, наслѣдственно даже, больно дурной болѣзью. Такъ тамъ, знаете, человѣку не имѣть носа — не такой еще порокъ! И исключенья я... Вы не изволили читать въ отчетѣ „совѣта присяжныхъ повѣренныхъ“ постановленіе о моемъ исключеніи?

— Не интересовался и не интересуюсь!

— Прочтите. Очень назидательно. На шестнадцати страницахъ. На протяженіи печатнаго листа люди доказываютъ, что тратить чужія деньги нехорошо. Словно сами себѣ это внушить хотятъ! Для человѣка зрячаго сказать: „свѣтъ есть свѣтъ“, — и довольно. И только слѣпому надо цѣлый день объ этомъ говорить, да и

то онъ не пойметъ! И исключень я совѣмъ не потому, что страдалъ общей болѣзнью, а потому, что другой общей болѣзнью не страдалъ. Изъ Уфы въ Кіевъ, изъ Кіева въ Пермь, изъ Перми въ Варшаву и изъ Варшавы въ Севастополь на защиту стачечниковъ не метался. Вызвать въ качествѣ свидѣтелей Максима Горькаго и Сергѣя Юльевича Витте не ходатайствовалъ. Съ предсѣдателями по этому поводу въ пререканія не вступалъ. И зала засѣданій демонстративно не покидалъ. Словомъ, вышвырнуть я за бортъ изъ либеральной профессіи за то, что я „негодный консерваторъ“. И обезглавленъ я, гильотинированъ за убѣжденія. Позвольте же-съ протестовать во имя свободы!

— У насъ больше всего кричать о свободѣ „Московскія Вѣдомости“ и „Гражданинъ“. Какая свобода? Дѣлать мерзости? И „свобода насилія“?

XVIII.

— Мнѣніе свободно. Убѣжденіе не можетъ быть наказуемо. И если гг. либералы требуютъ свободы для мнѣній социаль-демократическихъ, социаль-революционныхъ, анархическихъ, то какъ же-съ вести на эшафотъ за мнѣнія консервативныя? А между тѣмъ, предъ вами жертва собственнаго консерватизма! Я казнень за убѣжденія. Лишень, правда, не жизни. Но того, чѣмъ жизнь красна. Что дороже жизни. Безъ чего жизнь превращается въ сплошной позоръ и мученіе. Я лишень чести. Какъ я не лишилъ себя ненужной жизни въ эти страшныя минуты? спросите вы. Не спору, мысль о самоубійствѣ первой пришла и мнѣ въ голову. Самые твердые умы несвободны отъ минуты слабости. Но я поѣхалъ въ Кронштадтъ... Вы можете улыбаться.

— Я ничему не улыбаюсь.

— Но я человекъ вѣрующій. Глубоко вѣрующій. Наивно вѣрующій. И я прибѣгъ къ нашему, къ простому, къ народному, къ „домашнему“ русскому средству: я поѣхалъ въ Кронштадтъ. И тамъ молился. И по молитвѣ моей свершилось чудо. Я былъ исцѣленъ отъ грѣха самоубійства и, вернувшись сюда изъ Кронштадта, просвѣтленный, основалъ здѣсь отдѣленіе „союза истинно-русскихъ людей“.

— Не кощунствуйте, г. Чивиковъ! Неужели вы не понимаете, что вы кощунствуете,—кощунствуете, приплетая религію къ вашимъ грязнымъ, къ вашимъ мерзкимъ дѣлишкамъ!

— Браните меня! А я вамъ отвѣчу спокойно: „Браните меня, глубочайше уважаемый Петръ Петровичъ, я не разсержусь на васъ, ибо это брань незнанія“. Итакъ, свершилось чудо: человека утопили, а онъ вылѣзъ на берегъ и брючки одѣлъ-съ. Какъ въ древнемъ русскомъ сказаніи. Стенька Разинъ съ размаха кинулъ въ Волгу красавицу татарскую княжну, а она выплыла къ его лодкѣ русалкой, посеребренной луннымъ свѣтомъ, и запѣла еще слаще, чѣмъ пѣвала татарская княжна! Человека съ одного берега бросили съ камнемъ на шею въ воду, а онъ нырнулъ и на другой берегъ вынырнулъ и кричитъ: „Вотъ онъ я! Я еще и къ вамъ, други милые, приду!“ Не чудо? Вы спросите у меня, что у меня за народъ въ моемъ „союзѣ истинно-русскихъ людей“, или какъ вы изволите называть, въ „черной сотнѣ“? Между нами разговоръ, — откровенно, какъ я и все откровенно говорю вамъ, положи руку на сердце, скажу вамъ: неважный народъ! Темный народъ. У меня Клепиковъ есть, домовладѣлецъ. Онъ изъ-за сына пошелъ. Сынъ у него „бунтуетъ“. Сынъ говоритъ какъ-то: „Я на сходку иду! Знаете, что ему жена Клепикова, мать, наплась сказать: „А у насъ, Степа, нынче олады. Твои лю-

бимья. Право, остался бы!“ Не трогательно? У меня Семухинъ есть, у него портняжное заведеніе. Онъ изъ-за керосина. Изъ-за керосина-съ „истинно-русскимъ“ человѣкомъ“ сдѣлался. Фактъ! О керосинѣ помянуть,— въ звѣрство впадаетъ. „Вѣшать, — кричить, — ихъ, подлецовъ, мало. Жилы изъ нихъ тянуть надо. Да всенародно. Чтобъ всѣ видѣли, какъ мучатся. Чтобъ никто не смѣлъ бунтовать. Чего правительство только глядитъ!“ Заведеніе большое. Керосина требуется много. „Изъ-за нихъ, подлецовъ, керосинъ только съ каждымъ днемъ дорожаетъ“. Какой народецъ-съ! Если имъ сказать, чтобъ за полтинникъ „народныя права“ купить, — не дадутъ-съ. Полтинникъ имъ дороже. Какова гражданская зрѣлость?!

— И это ваша „политическая партія“, г. Чивиковъ.

— И сила-съ! Домовладѣльцы, лавочники! Избиратели! И что, если я вамъ скажу, глубокоуважаемый Петръ Петровичъ, что я собралъ эту силу для того, чтобъ къ вашимъ ногамъ ее положить? Будете вы удивлены или нѣтъ? Вотъ онъ какой, Семенъ Алексѣевъ Чивиковъ, котораго вы сразу рѣшили въ сердцѣ своемъ: „не принимать!“ Вашъ единомышленникъ!

— Новость! И скажу: изъ непріятныхъ!

— То-то и оно-то! — воскликнулъ г. Чивиковъ, безъ вниманія скользнувъ по второй половинѣ фразы.— Всѣ мы, русскіе люди, словно въ одиночномъ заключеніи, въ камерахъ, другъ отъ друга каменными стѣнами отдѣлены, содержимся. Сами себя содержимъ! До того въ „одиночкахъ“ одичали, что даже и видѣть другъ друга не желаемъ! Я, Семенъ Алексѣевъ Чивиковъ, создалъ огромную силу и сжалъ ее въ могучій кулакъ для чего? Для того, чтобъ поддерживать то, что и вы недавно въ собраніи изволили излагать: Государственную Думу въ дарованныхъ размѣрахъ. Вотъ и я, съ одного берега утопленный и на другомъ берегу чу-

домъ вынырнувшій, вновь на вашъ либеральный берегъ переплылъ и руку вамъ подаю: „Здравствуйте!“ А господа крайніе пусть на островкѣ посередь рѣки одни посидятъ. Оба берега наши!

— Какое-то ужъ виртуозничество предательства, г. Чивиковъ! Отъ либераловъ къ консерваторамъ и среди консерваторовъ тайнымъ либераломъ!

— Отнюдь! Я прямо,—я вамъ все, какъ на духу... Спросите меня: „Что у тебя, Чивиковъ, внизу надѣто?“ — Покажу! Я вамъ прямо говорю: я консерваторъ! Я чистѣйшей воды консерваторъ! Мнѣ никакихъ политическихъ требованій, расширеній не надо! Вы спросите меня: зачѣмъ же я иду въ Государственную Думу? „Нелогично, а ты, братъ, человѣкъ умный“. Я прямо вамъ отвѣчу: изъ всей программы Государственной Думы меня интересуетъ одинъ пунктъ. Послѣдній! „Государственной Думѣ предоставляется обсуждать учрежденіе акціонерныхъ предпріятій, если при семъ требуется изъятіе изъ существующихъ законовъ“. Вотъ! Я дѣлатель практической. Сдѣлать законы, жесткіе и твердые какъ камень, законами гибкими и эластичными и изъ Прокрустова ложа превратить ихъ въ широкую, двуспальную, пружинную, мягкую, удобную постель, на которой Россія могла бы родить грандіозную промышленность! Какая задача для реформатора! Создать „изъятіями“ вездѣ удобныя условія для возникновенія новыхъ, новыхъ и новыхъ предпріятій! Создать грандіозную промышленность, накормить миллионы ртовъ, наполнить десятки миллионныхъ рукъ живой, прибыльной работой. Создать несмѣтную армію труда и прогресса. Да, прогресса! Чему мы обязаны тѣмъ, что имѣемъ? Откуда взялись эти арміи стачечниковъ, поддерживающія всѣми забастовками политическія требованія? Ихъ дала развившаяся промышленность. Еще вчера Толстой во „Власти тьмы“

Говорилъ: „Мужикъ въ казармѣ или въ замкѣ чему-нибудь научится“. Сегодня мы къ этимъ старымъ народнымъ университетамъ — казармамъ и тюремному замку — прибавляемъ еще фабрику! Создать тысячи „народныхъ университетовъ“ и въ нихъ призвать къ политическому сознанію миллионы людей! Какая задача экономическая, политическая. Какая высота, на которой кружится голова!

— И все при помощи „изъятій изъ законовъ“?!

— Изъятій. Здѣсь мы будемъ сильны-съ. И наша партія...

— „Партія изъятелей“.

— Партія изъятелей будетъ сильна, съ нами будутъ считаться, за нами будутъ ухаживать, мы будемъ цѣнны, — мы, экономическими, настоящими, интересами связанные съ Думой. Не мальчишки какіе-нибудь, не беспочвенные мечтатели, а серьезный, дѣловой, практическій народъ, не за химерами, а за пользой пришедшій въ Думу. Такіе люди желательны. Съ такими людьми пріятно имѣть дѣло. На такихъ людей положиться можно.

— Еще нѣтъ парламента, а вы ужъ готовите Панаму!

Г. Чивиковъ улыбнулся.

— Остроумны, какъ всегда.

— Что жъ вамъ угодно, собственно, отъ меня?

— Въ двухъ словахъ. Нашъ городъ избираетъ двухъ представителей. Однимъ буду я, другимъ, хотите, вы? Я не хочу узурпировать Думу въ пользу однихъ консерваторовъ. Я хочу дать вамъ возможность работать. Съ вами къ намъ придутъ умѣренные, и мы будемъ имѣть большинство. Отъ насъ будетъ зависѣть назвать двухъ представителей

— Другими словами, вы являетесь ко мнѣ, чтобъ я поставилъ свой бланкъ... Свое чистое, честное, въ

общественномъ смыслѣ кредитоспособное имя на вашемъ сомнительномъ векселѣ?

— Зовите, какъ хотите. Вы получите возможность работать, заниматься дѣятельной политикой, проводить ваши идеи. Взамѣнъ? Взамѣнъ вы будете поддерживать насъ. Не понимаю, что тутъ предосудительнаго? Политическое соглашеніе. Дѣлается во всей Западной Европѣ. Къ тому, у васъ, въ имѣніи, тоже есть руда. Мы можемъ...

— Подкупъ! Знаете, г. Чивиковъ! У васъ скарлатина появляется на свѣтъ раньше, чѣмъ ребенокъ!

— Въ двухъ словахъ. Я все сказалъ. Согласны вы или нѣтъ? Я вамъ предлагаю свою силу...

— Знаете, что я вамъ скажу? Ужасно, когда намъ въ лицо плюютъ тѣ, кого хотѣли бы мы поцѣловать. Но еще ужаснѣе, когда цѣлуютъ тѣ, кому мы хотѣли бы плюнуть въ лицо. Вотъ мой отвѣтъ.

Чивиковъ посмотрѣлъ на Кудрявцева съ удивленіемъ.

— Значить, вы совсѣмъ отказываетесь отъ политической дѣятельности? Сходите со сцены? Съ „тѣми“ вы разошлись, съ нами не желаете сойтись. Подумайте.

— Я больше не хочу вамъ отвѣчать ни на что и потому васъ не задерживаю!

У Петра Петровича отъ послѣднихъ словъ Чивикова сжало сердце.

Чивиковъ поднялся.

Взглядъ его сталъ насмѣшливымъ и презрительнымъ.

Онъ пошелъ было къ выходу, но обернулся и оглядѣлъ Петра Петровича съ ногъ до головы.

— Я думалъ, что иду къ живому человѣку. А пришелъ ужъ къ покойнику, которому только остается поклониться до земли и поцѣловать его въ лобъ „последнимъ цѣлованіемъ“ и сказать: „былъ“!

— Вонъ!..

На шумъ черезъ минуту вошла Анна Ивановна. Чивикова ужъ не было.

Петръ Петровичъ шагаль по кабинету огромными шагами.

— Что случилось? Ты кричалъ?

Петръ Петровичъ остановился передъ ней и разсмѣялся злымъ и больнымъ смѣхомъ:

— Только что совершилось мое отпѣваніе!

— Ты съ ума сошелъ?

Въ эту минуту лакей подаль новую карточку.

— Часъ отъ часу не легче! — воскликнулъ Петръ Петровичъ. — Аня, оставь насъ.

И подаль ей визитную карточку:

„Мееодій Даниловичъ Зеленцовъ“.

— Проси!

XIX.

Зеленцовъ вошелъ какъ-то бокомъ. По тому, какъ онъ безпрестанно поправлялъ очки, безпрестанно запахивалъ сюртукъ, видно было, что онъ страшно конфузится.

Онъ сунулъ холодную и влажную руку Петру Петровичу.

Петръ Петровичъ глядѣлъ на него съ интересомъ и волненіемъ.

Зеленцовъ сѣлъ, закурилъ папиросу, ткнулъ ее въ пепельницу, закурилъ другую, снова ткнулъ, закурилъ третью.

Лицо его дергалось. Онъ улыбался неприятной улыбкой.

И, наконецъ, заговорилъ хриплымъ страннымъ, не своимъ голосомъ:

— Трудно, значить, объяснить, зачѣмъ, собственно, значить, я къ вамъ пришелъ. То-есть оно, значить, мнѣ-то понятно, но съ вашей, значить, точки зрѣнія...

Онъ помолчалъ, словно собираясь съ духомъ.

— Видите. Разъ... Это было въ Якутской области. Шелъ второй мѣсяцъ ночи. Какъ у васъ, значить, говорятъ: „Второй часъ ночи“,—такъ тамъ, мы: „Второй мѣсяцъ“ ночи. Я сидѣлъ у себя въ юртѣ, какъ вдругъ дверь отворилась, и вошелъ мой бывшій товарищъ. Бывшій, значить... Мы ненавидѣли другъ друга, какъ во всемъ мірѣ могутъ ненавидѣть другъ друга только два русскихъ интеллигента... изъ-за разницъ во взглядахъ на какую-нибудь эрфуртскую программу! Я кинулся, значить, его обнять. Онъ сурово отстранилъ меня рукой. „Я пришелъ къ тебѣ не въ гости. Ради этого я не пошелъ бы ночью въ сорокъ градусовъ мороза въ пургу за пятьдесятъ верстъ, рискуя замерзнуть“. Онъ жилъ, значить, въ другомъ улусѣ. „Я много думалъ въ эти двадцатичетырехчасовыя ночи, и чѣмъ больше думалъ, тѣмъ больше приходилъ къ убѣжденію, что ты не правъ. Даже въ Якутской области не вѣчно длится ночь. Если мы до тѣхъ поръ не сгніемъ отъ цынги“... Онъ сгнилъ. „Если мы до тѣхъ поръ не сгніемъ, значить, отъ цынги, мы, быть-можетъ, встрѣтимся. Ты во главѣ одного отряда, я—во главѣ другого. И знай, что я буду тебя тогда проклинять, потому что я буду увѣренъ, что ты ведешь свой отрядъ къ гибели. Вотъ то, что я хотѣлъ тебѣ сказать“. Повернулся и ушелъ, рискуя замерзнуть. Продолжать, значить?

— Я васъ слушаю.

— Намъ, можетъ-быть, придется встрѣтиться на митингахъ, на собраніяхъ, въ Государственной Думѣ, значить, въ нашей,—онъ ударилъ на этомъ словѣ,—Государственной Думѣ, вы, быть-можетъ, захотите про-

тянуть мнѣ руку для примиренія, — я хочу избавить васъ, значить, отъ этого бесполезнаго труда. Быть-можетъ, теперь вы захотите воспользоваться появленіемъ этого „блажнаго дѣтища хаоса“ Гордея Чернова, который страшень всѣмъ, — чтобы предложить соединиться... Подсылы были.

— Я никого не подсылалъ.

— Г. Мамоновъ...

— Прошу меня не смѣшивать съ Семеномъ Семеновичемъ. Я желаю быть казеннымъ отдѣльно. Отрубите мнѣ голову, но на другой плахѣ. Простите мнѣ эту брезгливость. Но даже на одной плахѣ я не хочу лежать съ нимъ головами.

— Такъ вотъ, значить. Я пришелъ сказать вамъ, что не только предъ лицомъ опасности, — предъ лицомъ самой смерти между нами примиренія нѣтъ. И не можетъ быть. Во избѣжаніе недоразумѣній я считаю долгомъ, значить, сказать вамъ. Я васъ ненавижу. Ненавижу и...

Петръ Петровичъ съежился, словно надъ нимъ повисъ ударъ. Онъ чувствовалъ слово, которое произнести не поворачивался языкъ Зеленцова.

Зеленцовъ тяжело дышалъ.

— Ненавижу. Довольно!.. Вамъ, можетъ-быть, не интересно почему. Я васъ оскорбилъ въ вашемъ домѣ. Вы вольны встать, значить, и крикнуть мнѣ: „Вонъ!“ Это ваше право.

— Говорите!—глухо и покорно сказалъ Петръ Петровичъ.—Я знаю и вижу, что между вами и мною непроходимая, бездонная пропасть. Но кто ее вырылъ? Какое землетрясеніе ее образовало? Я не знаю. И клянусь вамъ, что, несмотря на ваши оскорбленія, мнѣ тяжелѣе этотъ разладъ съ вами, чѣмъ ссора съ Семеномъ Семеновичемъ, который старается быть моимъ единомышленникомъ. Объяснимся же, быть-можетъ...

— Ничего не можетъ быть. Я ненавижу, значить, въ васъ все. Потому что ненавижу ваше барство... А вы весь состоите изъ барства. Я ненавижу вашъ голосъ, походку, улыбку, — благовоспиганные барскіе голосъ, походку, улыбку. Я ненавижу ваше красно-рѣчіе. Все для васъ поводъ къ красивой фразѣ. Вы все, значить, облекате въ красивую фразу. И все, — жизнь, мученья, страданье, — размѣниваете на красивые фразы. Вся жизнь для васъ — поводъ быть краснорѣчивымъ. Я ненавижу улыбку, съ которой вы подходите ко всему. У васъ на все есть анекдотъ, острота, смѣшокъ, благовоспитанная улыбка, съ которой вы говорите о всемъ, чтобы все смягчить, и чтобы людей ничто не пугало. Когда я вернулся изъ ссылки... И до насъ, значить, туда доносилось имя Кудрявцева. Когда я вернулся изъ ссылки, я, прежде всего, заинтересовался: что этотъ Кудрявцевъ? Мнѣ рассказали тысячи вашихъ *bons-mots*, ваши шпильки губернатору, пикировку съ министромъ. Какъ подвиги! Ваши не пропускаемая цензурой — какое страшное гоненіе! — рѣчи на банкетахъ въ московскомъ „Эрмитажѣ“, въ трактирѣ, гдѣ стѣны покрыты, какъ пылью, налетомъ либеральнаго гулкаго звона. Гдѣ колонны скучаютъ, заранее зная, что кто изъ гг. либеральныхъ ораторовъ станеть за сорокъ лѣтъ въ тысячный разъ повторять. „Все?“ „Все!“ — И я, значить, возненавидѣлъ васъ. И я сказалъ себѣ: „Вотъ вреднѣйшій изъ вредныхъ людей. Онъ принесъ и приносить зла больше, чѣмъ кто-нибудь. Онъ приучалъ общество къ пустякамъ, къ бирюлькамъ. Онъ обезцѣнилъ подвигъ! Онъ остроу, *bou-mot* возвелъ въ общественный подвигъ и отвлекалъ вниманіе общества отъ тѣхъ, кто жизнь свою въ это время“... О, Боже! Когда я вспомню казематы, сквозь стѣны которыхъ слышался сумасшедшій смѣхъ сошедшаго съ ума сосѣда; тундры, безпросвѣтную ночь и цыгнугу. У меня былъ,

значить, товарищъ. Онъ мнѣ рассказывалъ о своей матушкѣ, высчитывалъ часы разницы, представляя ее въ своихъ мечтахъ: „Что она сейчасъ дѣлаетъ“. И черезъ два года узналъ, что мать его два года тому назадъ какъ померла. Онъ думалъ о ней, какъ о живой, когда она сгнила. У меня былъ товарищъ. Онъ былъ бы, значить, свѣтиломъ науки. Онъ жаждалъ знанія. И этимъ знаніемъ и своими открытіями осчастливилъ бы міръ, человѣчество. Онъ былъ на порогѣ великихъ знаній. И его оторвали съ этого порога. И онъ сидѣлъ въ якутской юртѣ передъ огнемъ, борясь съ охватывавшимъ его безуміемъ. И палъ. Отъ свѣтильника ума я услышалъ идиотскій смѣхъ. Отъ свѣтильника, померкшаго свѣтильника, я услышалъ чадъ и смрадъ. И что же вы, значить, сдѣлали? Вы отняли у этихъ мучениковъ послѣднее, на что они имѣли право: вниманіе общества, преклоненіе предъ ихъ подвигомъ. Вы отвлекли въ другую сторону вниманіе общества вашими фальшфейерами, вашими шутихами, вашими бенгальскими огнями. Вы подмѣнили подвигъ! Вы подвигомъ сдѣлали bon-mot, остроту, каламбуръ, пикировку,—притомъ безопасную. Вы не камеръ-юнкеръ?

— Нѣтъ. Мамоновъ камеръ-юнкеръ.

— Жаль. Я попросилъ бы, значить, васъ сняться въ камеръ-юнкерскомъ мундирѣ и напечаталъ бы вашъ портретъ: „Глава русской либеральной оппозиціи въ полной парадной формѣ!“ Понимаете вы, почему я возненавидѣлъ васъ, вашу салонную оппозицію, ваши, значить, перевороты, которые вы дѣлаете въ гостиной за чаемъ и печеньемъ. Дайте мнѣ воды!

У Зеленцова зубы стучали о стаканъ.

— Мы гибли. Мы гнили. Вы смѣете говорить о томъ, что вы перенесли! Вы напоминаете мнѣ барыню, которая, значить, рассказывала, какъ на ея глазахъ пожарный сорвался съ крыши и упалъ въ огонь и

сгорѣлъ: „Я такъ перепугалась, я такъ перепугалась, мнѣ ударило въ виски“. Какъ будто все происшествіе состояло въ томъ, что у нея разстроились нервы. Я ненавижу васъ за вашу барскую замашку,—она у васъ въ крови,—за крѣпостную замашку, пожинать то, что сѣяли другіе. Перевороты вѣдь совершаются не блестящими *bons-mots*. Все, къ чему мы стремимся, все, чего мы достигнемъ,—все вѣдь это сдѣлано, значить, не вашими остротами. Это сдѣлано стачками, забастовками, голодовками, добровольными голодовками, тѣмъ, что люди подставляли грудь, свою грудь подъ залпы. Что сдѣлали для этого, значить, вы? Вы въ испугѣ твердили проклятіе, положенное Пушкинымъ на всѣ будущія попытки всякаго русскаго освободительнаго движенія: „русскій бунтъ, безсмысленный и безпощадный“. Да! Шестдесятъ лѣтъ тому назадъ Пушкинъ писалъ, что русскій бунтъ—безпощадный и безсмысленный... Безсмысленный?—А теперь вся Западная, значить, Европа, главари движеній, передовые вожди, дивятся организованности, обдуманности, планомѣрности, цѣлесообразности, порядку русскаго освободительнаго движенія. Кто снялъ это проклятіе съ русскаго освободительнаго движенія? Вы или мы? Вы вашими безопасными пикировками съ министрами,—вѣдь васъ тронь—сейчасъ прошеніе выше, вѣдь у васъ цѣлый Петербургъ тетушекъ, которыя, тронь васъ, зашумятъ и загудятъ, значить, какъ встревоженный пчелиный улей. Вы или мы, работавшіе надъ этимъ каждую секунду подъ грозой крѣпости и тундры? И вотъ, когда эти дикіе кони объѣзжены, идутъ ровной крупной рысью,—вы желаете сѣсть на облучокъ, взять въ свои руки вожжи и барски править? И покрикивать: „тпру“! Вы продадите насъ и народъ, лившій свою кровь. Барски продадите то, что сѣяли другіе. Вы явитесь къ встревоженному другими правительству и

скажете ему: „Вотъ какіе мы благонравные и паиньки. Какія у насъ умѣренныя требованія“. И, по барской привычкѣ, представите себя къ реформочкамъ, какъ къ кресту, значить, или наградѣ. „За благонравіе“. А насъ, неблагонравныхъ, заработавшихъ кровью и жизнью ваши „реформочки“? Вы объявите насъ первыми врагами. „Дали,—и они все мутятъ!“ И будете разстрѣливать насъ, какъ враговъ, съ либеральной точки зрѣнія, но не менѣе мѣтко. Съ привычной, барской, наслѣдственной, въ крови вашей текущей неблагодарностью, съ тою неблагодарностью, съ какой стець, дѣдъ вашъ продавалъ за стаю, значить, гончихъ медвѣжатника, спасаго ему жизнь. Я знаю вашу теорію. Вы ея, быть-можетъ, такъ ясно себѣ не формулируете,—по барской лѣни, вамъ лѣнь даже думать,—на которой вы держитесь. „Умѣреннымъ либеральнымъ партіямъ отказываться отъ помощи крайнихъ безсмысленно, какъ войску отказываться отъ артиллеріи“. Я знаю вашъ расчетъ: для успѣха всякаго передового движенія нужны два параллельныхъ теченія: крайнее и умѣренное. Крайнее запугаетъ. Требованія у него велики, оно запрашиваетъ страшно много. И потому поспѣшатъ войти въ соглашеніе съ умѣреннымъ. „Выгоднѣе. Меньше требуетъ“. Пусть мы обстрѣливаемъ для васъ позиціи, штурмуемъ,—идушіе позади, держащіеся благородно внѣ линіи огня и попаданья, слѣдующіе въ обозѣ, вы, значить, по нашимъ вы трупамъ войдете на нами взятую позицію. И не по трупамъ. По живымъ еще, по раненымъ, по истекающимъ кровью,—и прикажете „похоронить“! Мы больше не нужны. „Это трупы“. Нѣтъ-съ! Вы устроите что-нибудь на взятой нами позиціи? Обозная команда,—вы заключите миръ, что бы вамъ ни дали. Вѣдь не свою, значить, кровь вы лили! Вамъ развѣ жаль? Вы, по наслѣдственности, охранительный элементъ. Вамъ нужна

[illegible]

другой! И никакой другой! Она намъ нужна, какъ первый этапъ, какъ военная база для дальнѣйшаго похода впередъ. И вы, которые кричали намъ, сидя въ обозѣ, своими пискливыми голосами: „Впередъ! Впередъ!“ — вы, предоставлявшіе намъ подставлять свои груди, — вы намъ не нужны. Вы противны намъ. И пропасть, которая насъ раздѣляетъ, — отращеніе къ вамъ! Такой пропасти не перешагнешь. Или можно? Идите сейчасъ. Пользуйтесь моментомъ, пока не поздно. Быть-можетъ, завтра, значитъ, выстрѣлы стихнутъ. Спѣшите. Идите въ толпу рабочихъ и подставьте вашу грудь подъ пули. Вы умрете нашимъ или вернетесь нашимъ. Вы останетесь въ вашемъ кабинетѣ, — мое вамъ почтеніе. Это все, что я хотѣлъ вамъ сказать.

Зеленцовъ всталъ, круто повернулся и пошелъ изъ кабинета.

Петръ Петровичъ молча сидѣлъ въ креслѣ.

Около портьера Зеленцовъ остановился, повернулся и страшно сконфуженно сказалъ:

— Извините меня за то, что я вамъ сказалъ. Я это все принципиально!

Петръ Петровичъ улыбнулся убитой улыбкой:

— Принципиально?... Сдѣлайте одолженіе.

Зеленцовъ вышелъ.

XX.

Петръ Петровичъ отправился на похороны застрѣленныхъ рабочихъ.

Наканунѣ толпа забастовавшихъ рабочихъ, шедшая по главной улицѣ съ краснымъ флагомъ, встрѣтилась съ батальономъ солдатъ.

Толпа пѣла.

Полицмейстеръ фонъ-Шлейгъ потребовалъ залпа.

Залпъ былъ данъ.

Толпа съ воплемъ кинулась назадъ.

Впереди на землѣ лежало въ крови 38 человѣкъ.

36 шевелились, стонали, вопили, бились, пытались встать.

Двое, мужчина и женщина, лежали неподвижно.

Мужчина скорчившись.

Женщина, раскинувъ руки и ноги.

— Безобразіе! — сказалъ, утирая потъ со лба, молодой поручикъ, съ гримасой, передернувшей все лицо, смотря на раскинувшуюся бабу.

Что онъ этимъ хотѣлъ сказать, — Богъ его знаетъ.

Шестеро умерло въ городской больницѣ во время операцій и послѣ.

Изъ раненыхъ едва дышало еще десять.

Губернаторъ приказалъ похоронить убитыхъ ночью.

Но въ городѣ происходило что-то еще небывалое.

„Кровь — сокъ совсѣмъ особеннаго сорта“.

Царилъ ужасъ.

Росъ и откуда-то поднимался все выше и выше.

Словно на днѣ огромнаго котла кипѣло, клочкотало.

Поверхность воды дрожить и содрогается. Вотъ-вотъ все поднимется и закипитъ горячей пѣной.

— Откройте клапанъ! Дайте выходъ! — блѣдный и трясясь говорилъ губернатору Семенчуковъ, явившійся къ нему по порученію почтеннѣйшихъ гражданъ. — Пусть все это разрядится тамъ, за городомъ, на кладбищѣ. А не здѣсь. Пусть взрывъ произойдетъ не среди насъ. Дайте этому пару выйти, ваше превосходительство. Со свистомъ и шипѣньемъ, но безъ катастрофы. Пусть они тамъ поютъ, говорятъ. Но тамъ, тамъ! Мы дрожимъ въ нашихъ жилищахъ.

— Вы не должны бояться!

— Ваше превосходительство! Вы намъ запрещаете даже бояться! Но это не въ силахъ сдѣлать никто!

— Вы говорите, какъ бунтовщикъ-съ!

— Ваше превосходительство! Я говорю, какъ отецъ пятерыхъ дѣтей, которыхъ мнѣ вѣдь безразлично видѣть: растерзанныхъ толпой или застрѣленныхъ шальной пулей. Мнѣ вѣдь отъ этого не легче.

Полицмейстеръ фонъ-Шлейгъ вошелъ къ губернатору, какъ онъ выразился, съ особымъ соображеніемъ и вышелъ отъ него съ выраженіемъ удовольствія и полной побѣды на лицѣ.

— Можете передать всѣмъ вашимъ добрымъ знакомымъ, — сказалъ онъ, энергичнѣе, чѣмъ обыкновенно, пожимая руку чиновнику особыхъ порученій Стефанову, — что граждане могутъ быть спокойны. Никакихъ „долоевъ“ больше не раздастся. Завтра въ послѣдній разъ.

Похороны были разрѣшены публичныя.

— Предупреждаю, — говорилъ губернаторъ всѣмъ и каждому, — если полюбопытствуете пойти... Считаю долгомъ предупредить, что полиціи не будетъ. Подумайте: итти или нѣтъ.

Городъ въ нѣмомъ ужасѣ ждалъ похоронъ.

Половина города ушла на похороны. Другая половина заперлась въ своихъ домахъ.

На улицахъ, по которымъ ѣхалъ Петръ Петровичъ, не было ни души.

Нигдѣ не дребезжала даже пролетка извозчика.

Среди бѣлаго дня было еще болѣе жутко, чѣмъ въ глухую полночь.

Казалось, окна домовъ, въ которыхъ не видно было ни человѣка, съ ужасомъ смотрѣли на улицу, замерли и ждали.

Петру Петровичу вспомнилась картина. Траншея. Огонькомъ горитъ и, очевидно, крутится упавшая бомба. Вотъ-вотъ разорвется. И съ ужасомъ искаженнымъ лицомъ, впившись въ землю скорченными отъ

ужаса пальцами, замеръ, лежитъ турокъ и широко раскрытыми, безумными глазами смотритъ на крутящуюся передъ нимъ бомбу, которая вотъ-вотъ разорвется.

Пустыя окна пустыхъ домовъ показались ему похожими на глаза этого турка.

Городская больница помѣщалась на краю города. Дорога къ кладбищу шла по пологимъ холмамъ. Былъ ясный, свѣтлый осенній день.

Когда Петръ Петровичъ выѣхалъ на просторъ изъ города, холмы чернѣли отъ народа.

По дорогѣ, извивавшейся среди холмовъ, несли покойниковъ.

Надъ толпой, каждый развернутый на двухъ палкахъ, плыли два красныхъ флага.

На одномъ была надпись:

„Россійская социаль-демократическая партія“.

На другомъ:

„Русская социаль-революціонная партія. Да здравствуетъ социализмъ“.

На третьемъ флагѣ, черномъ, крупными буквами было написано:

„Героямъ борьбы за свободу“.

Съ ошибкой:

— За свободу.

„Словно нотаріальное засвидѣтельствованіе руки! Что писали имъ не интеллигенты-подстрекатели, не пресловутые агитаторы. Что писалъ собственноручно неграмотный русскій народъ!“ подумалъ Петръ Петровичъ.

Полиціи, дѣйствительно, не было.

И кругомъ было радостно и свѣтло.

Словно всѣ дышали глубоко и широкой грудью.

Всю несмѣтную толпу окружала, взявшись за руки, цѣпь собственной охраны.

Рабочіе, гимназисты старшихъ классовъ съ красными бантиками на лѣвой сторонѣ груди.

Ни крика ни лишняго возгласа.

Отъ колоссальной толпы вѣяло мощью и какимъ-то великодушіемъ.

Словно левъ шелъ.

„Словно побѣдители!“ подумалъ Петръ Петровичъ. У него почему-то слегка кружилась голова при этомъ зрѣлищѣ и щекотало въ горлѣ.

Онъ былъ одѣтъ попроще, чтобъ его не узнали и „не потребовали еще рѣчи, пожалуй“.

Онъ сошелъ съ экипажа и подошелъ къ цѣпи.

— Не пропустите ли меня, господа, внутрь?

— Товарищи, разомкнитесь. Пропустите! — сказалъ мягко молодой рабочій съ красной перевязкой на рукѣ, очевидно, одинъ изъ распорядителей охраны.

Цѣпь разомкнулась и сомкнулась снова.

Итти въ тридцатитысячной толпѣ было свободно, словно онъ шелъ по дорогѣ одинъ.

Если же кто-нибудь, торопясь и обгоняя, задѣвалъ его слетка плечомъ или локтемъ, оглядывался.

— Извините, пожалуйста! Я нечаянно!

Петру Петровичу вспомнилась парижская толпа, гдѣ толкаютъ, ходятъ по ногамъ, облакачиваются на плечи, и никому не приходится въ голову сказать:

— Pardon!

„Медовый мѣсяцъ, даже первый день свободы и безъ призора. Лакомятся и даже объѣдаются вѣжливостью послѣ „осади назадъ“, — съ улыбкой подумалъ Петръ Петровичъ.

А изъ груди что-то поднималось все выше и выше, подступало къ горлу и щекотало все сильнѣе и сильнѣе при видѣ этой невиданной русской толпы „мастеровщины“.

Подвигаясь поближе къ гробамъ, Петръ Петровичъ обогналъ группу людей съ бѣлыми перевязками, съ краснымъ крестомъ на лѣвой рукѣ.

Петръ Петровичъ узналъ двухъ знакомыхъ докторовъ городской больницы. Три студента несли коробки съ ватой и бинтами, склянки съ жидкостями.

Это былъ организованный рабочими летучій отрядъ „скорой помощи“.

Впереди шествія шелъ оркестръ реалистовъ и игралъ похоронный маршъ:

„Не билъ барабанъ передъ смутнымъ полкомъ“...

Толпа пѣла:

«Вы жертвами пали борьбы роковой,
Любви беззавѣтной къ народу»...

Заканчивали здѣсь, начинали тамъ.

Запѣвали звонкіе женскіе голоса, подхватывали мужскіе.

И пѣснь, не смолкая, перекатывалась, неслась надъ толпой.

Петръ Петровичъ слушалъ съ удивленіемъ.

Какъ всѣ знали слова. Какъ всѣ знали мотивъ. Какъ стройно пѣли.

Словно спѣвались годами.

Передъ входомъ на кладбище толпа раздѣлилась.

Среди убитыхъ было пять русскихъ и трое евреевъ.

Часть пошла за одними, часть—за другими.

— Я за еврейчиками!

— Я къ еврейчикамъ приду потомъ!

Услышалъ Петръ Петровичъ сзади себя, невольно улыбнулся и оглянулся.

Говорили двое рабочихъ. Старый и молодой. Оба съ серьезными, угрюмыми лицами.

А къ солдату, котораго вели подъ руки впереди него двое рабочихъ, всѣ обращались:

— Солдатики!

Въ воротахъ кладбища у Петра Петровича болѣзненно сжалось сердце.

Близъ церкви, у самой дороги, какъ разъ на пути тридцатитысячной толпы—ихъ семейное „мѣсто“.

Могили его отца, его матушки, могила его сына, которую весной жена сама убирала цвѣтами.

„Ихъ ужъ, вѣроятно, топчутъ сейчасъ“.

И возмущеніе поднялось со дна его души, и онъ ужъ ненавидѣлъ эту толпу, ея пѣніе, ея „знамена“.

„Какое мнѣ дѣло до вашихъ движеній, революцій. Не топчите моего горя! Не топчите моего сердца! Не топчите того, что мнѣ дороже всего на свѣтѣ!“

Вотъ и ихъ „мѣсто“.

Проходя мимо, Петръ Петровичъ вынулъ платокъ и, дѣлая видъ, что сморкается, нѣсколько разъ вытеръ глаза.

Могила его сына, вся въ цвѣтахъ, стояла нетронутая, словно вѣтерокъ только дышалъ вокругъ нея.

Толпа осторожно, деликатно обходила рѣшетки, памятники, деревянные кресты, могильные холмики, и пичья рука не протянулась, чтобъ сорвать хоть одинъ цвѣтокъ.

Цвѣты стояли свѣжіе и нетронутые, и теплились, мигая, лампадки передъ маленькими образками въ крестахъ.

Петру Петровичу вспомнились похороны Чехова, на которыхъ онъ былъ въ Москвѣ.

Самыя поэтичныя изъ похоронъ, которыя когда-либо гдѣ-либо происходили.

Но когда интеллигентная толпа ушла съ кладбища, послѣ нея осталось мѣсиво изъ растоптанныхъ могилъ, поломанныхъ крестовъ, втоптанныхъ въ грязь цвѣтовъ, поваленныхъ рѣшетокъ, даже сдвинутыхъ памятниковъ.

За всю дорогу Петръ Петровичъ видѣлъ одного пьянаго.

Съ огромной черной бородой и блѣднымъ видомъ, онъ махалъ рукой и кричалъ:

— Я говорю, пусть поютъ такъ, какъ пѣли первые, и имъ ничего не будетъ! Пусть поютъ такъ, какъ пѣли первые! И, ничего не будетъ! И ничевошеньки не будетъ!

Его окружали рабочіе съ красными значками на груди, что-то говорили. Группа, скрывъ пьянаго въ срединѣ, пошла куда-то въ сторону, и все стало тихо.

Подъ бѣлые глазетовые гроба съ вѣнками изъ живыхъ цвѣтовъ поддѣли полотенца.

Задребезжалъ старый голосъ священника.

— Вѣчная память! Вѣчная память!—могуче полилось кругомъ могиль.

А другая огромная толпа вдали слушала ораторовъ и пѣла русскую марсельезу.

И на фонѣ доносившихся издали возгласовъ марсельезы могучими аккордами лилось:

— Вѣчная память!

Подъ свѣтлымъ, яснымъ золотомъ солнечныхъ лучей.

Вдали на холмахъ былъ виденъ городъ, казавшійся скучнымъ и будничнымъ.

А тутъ звенѣла марсельеза и гремѣла вѣчная память.

Петръ Петровичъ пошатнулся.

Было что-то странное, страшное, торжественное, новое, чѣмъ наполнялась грудь, чѣмъ наполнялся воздухъ кругомъ, что поднималось выше, выше къ небесамъ, разливалось шире, шире по землѣ.

„Вѣчная память“ вокругъ могиль умолкла.

Только издали доносился мотивъ марсельезы.

Раздались рыданья.

Крикъ:

— Сыночекъ мой! Сыночекъ мой!

— Перестаньте! Не плачьте! — раздался вдругъ отчаянный, истерическій голосъ. — Не разстраивайте всѣхъ! Клянемся, мы и такъ разстроены всѣ! Мы и такъ едва стоимъ.

И личное горе, — какое горе! — вдругъ стихло и смолкло.

Петра Петровича охватилъ ужасъ: передъ нимъ свершалось какое-то чудо.

XXI.

— Вѣковые рабы! Граждане! Товарищи! — раздался сильный, молодой, звенящій голосъ, и все кругомъ замерло.

Слѣпой сказалъ бы, что на кладбищѣ нѣтъ ни души.

— Кто это говоритъ? — шопотомъ спросилъ Петръ Петровичъ у сосѣда, стараго рабочаго.

Имъ съ пригорка былъ виденъ махавшій рукой молодой человѣкъ съ маленькими бачками.

— Котельщикъ онъ! — сказалъ, присматриваясь къ оратору, рабочій.

„Глухарь! Что-то надумалъ онъ въ непрестанномъ гулѣ, заклепывая котелъ изнутри!“

— Ни крика! Ни стопа! Ни вопля! Стисните зубы! Копите въ сердцѣ вашу ненависть! Граждане! Братья! Качается и рухнуть готова старая стѣна, которая отдѣляла насъ отъ солнца, свѣта, счастья и свободы! То, что мы завоевали, еще только первые камни, упавшіе со старой поколебленной стѣны! Первые, говорю я. И эти жертвы, которыхъ мы хоронимъ, еще только первыя жертвы въ нашей дальнѣйшей борьбѣ. Тамъ подъ ста-

рой, качающейся ужъ стѣной стоитъ бюрократическій строй, уже раненый, уже въ крови. Первые, упавшіе камни стѣны уже ранили его въ голову. Впередъ, товарищи! Отъ этихъ могилъ, со стиснутыми зубами, впередъ! Обрушимъ на него, на этотъ бюрократическій строй, всю стѣну. Скорѣе! Ногами ему на грудь. Руками вопьемся въ горло. И рухнетъ старая стѣна, и свѣтъ, ослѣпительный свѣтъ ударитъ намъ въ глаза. Товарищи!

Онъ зашатался и упалъ, его подхватили.

Кругомъ раздались истерическіе вопли.

Петру Петровичу стало страшно.

„Сейчасъ посыплются проклятія „буржуямъ“. И что тогда будетъ?“

Онъ былъ золъ на себя:

„И зачѣмъ я пошелъ? Какъ мальчишка“...

Человѣкъ съ черной бородкой замахалъ шляпой на мѣстѣ оратора, котораго, рыдающаго, въ припадкѣ, унесли на рукахъ.

— Товарищи! Братья!

— Хвармацетъ онъ!—сказалъ старикъ рабочій.

— Я съ другихъ похоронъ. Тамъ ваши товарищи хоронятъ евреевъ, убитыхъ вмѣстѣ съ русскими. Бокъ о бокъ, въ одномъ ряду, въ первомъ. Они вмѣстѣ, въ одну и ту же минуту, уходятъ въ землю, какъ вмѣстѣ, рука за руку, шли на бой за свободу. За свободу для всѣхъ. Въ этомъ бою нѣтъ русскихъ, нѣтъ евреевъ! Есть одинъ рабочій классъ!

— Вѣрно! Вѣрно!—раздались взволнованные голоса.

— Вѣрно!—раздался крикъ десятковъ тысячъ голосовъ.

И Петръ Петровичъ съ изумленіемъ глядѣлъ кругомъ.

— Товарищи! Боевые братья!. Братья по смерти! Братья по будущей побѣдѣ! Вы не повѣрите, если

скажутъ вамъ: это жиды все! Вы скажете: жиды шли вмѣстѣ, рука объ руку, не отставая, нога въ ногу, съ лучшими нашими братьями.

— Вѣрно! Вѣрно! — загремѣло кругомъ.

— Товарищи! Братья! Ужасно то, при чемъ мы присутствуемъ! Эти похороны жертвъ произвола и несправедливости. Но есть одно утѣшеніе. Всевышній все же сохранилъ справедливость, даже допуская несправедливое дѣло. На пять русскихъ убито три еврея. Это процентъ хорошій!

Онъ разрыдался.

— Больше я не могу говорить!

— Правда! Правда! Вѣрно! — кричали кругомъ.

Петръ Петровичъ думалъ:

„Ущипнуть себя? Сонъ?“

Откуда взялось все это?

Откуда взялась эта манера махать рукой, обычная у опытныхъ уже ораторовъ за границей, чтобъ обратить вниманіе, чтобъ указать, куда смотрѣть, откуда слышать, когда говорили въ многотысячной толпѣ?

Откуда взялась самая манера говорить? Выкрикивать, съ силой, не торопясь, не комкая, по слову, чтобъ каждый звукъ успѣлъ разнестись по воздуху и врѣзаться въ слухъ, въ воображеніе, въ душу?

Откуда взялось это умѣнье говорить и умѣнье слушать?

У глубоко взволнованной толпы чисто парламентская привычка прерывать рѣчь криками, только когда ораторъ закончилъ фразу и мысли?

И Петръ Петровичъ чувствовалъ, словно кто-то новый и неизвѣстный, могучій и колоссальный, выросъ передъ нимъ.

И все же думалъ съ тоской и тревогой:

„Когда же они про „буржуевъ“?“

Но то, что звучало передъ нимъ, было полно добра и великодушія.

Какого-то великодушія побѣдителей.

И отъ самыхъ страстныхъ рѣчей надъ могилами жертвъ вѣяло великой добротой народа-великана.

У Петра Петровича глаза были полны слезъ.

И онъ съ изумленіемъ твердилъ себѣ:

— Я бы такъ не могъ! Если бъ у меня убили сына, я бы такъ не могъ.

— Изъ токарей онъ! — сказалъ старикъ рабочій.

— Граждане! Гражданки! То, чего мы добились добровольными голодовками, нашею пролитой кровью, есть только узенькая щель въ той старой стѣнѣ, о которой говорилъ товарищъ. Узенькая щель, черезъ которую откуда-то еще издали мерцаетъ намъ небо и свѣтъ свободы и счастья. Но, товарищи, несомнѣнно, что эта узенькая щель превратится въ огромныя ворота, черезъ которыя мы всѣ войдемъ въ обѣтованную землю лучшаго будущаго. Сдѣлаетъ это общественное мнѣніе, которое проснулось, сознало свои права и мощно, властно потребуетъ своихъ правъ. Товарищи! Борцы! Мы должны въ нашей самоотверженной борьбѣ имѣть за себя этого могучаго союзника — общественное мнѣніе. Съ нимъ мы сильны. Это понимаютъ наши враги, и ихъ первое желаніе, чтобъ насъ, борцовъ за общее благо и общее счастье, смѣшали съ негодяями и хулиганами. Это клевета на рабочихъ! Не дадимъ же этой клеветы прилѣпиться къ намъ. Товарищи, сами будемъ охранять себя и охранять общество отъ хулигановъ, чтобъ насъ не смѣшивали съ ними. Товарищи! Если вы встрѣтите человѣка, который кричить: „бей жидовъ“, или „бей армянъ“, или „бей поляковъ“, или „бей магазинъ“, — втроемъ, вчетверомъ остановите его и спросите: „На какомъ такомъ основаніи надо бить? Что въ этомъ такого патріотическаго? Или хорошаго?“

И вы услышите отъ него въ отвѣтъ, товарищи, одни хулиганскіе возгласы и крики. И вы увидите, что это не рабочіе, которые всегда были честны, а алѣйшій врагъ нашъ, болячка, которой мы не больны, и которую нарочно хотятъ прилѣпить къ намъ. Тогда, товарищи, общими силами, какъ и подобаетъ во всякомъ обществѣ дѣлѣ, охраните.

Въ эту минуту раздался крикъ.

Общій вопль.

Страшный, безумный.

— Казаки!

Толпа кинулась къ стѣнѣ, и вмигъ ея не стало.

Петръ Петровичъ понялъ въ эту минуту, зачѣмъ вблизи него люди подбирали съ земли камни и складывали ихъ въ кучу.

Въ то время, какъ одни, падая, расшибаясь, словно обезумѣвшіе, бросались въ проломъ рухнувшей стѣны,—другіе со стиснутыми зубами и искаженными лицами разбирали кучку сложенныхъ камней.

Петръ Петровичъ кричалъ что-то, поднимая кулаки и потрясая ими.

Что,—онъ не помнилъ самъ.

XXII.

— Что съ тобой?!

Анна Ивановна отшатнулась, когда увидѣла мужа.

— Что съ тобой сдѣлали?—въ ужасѣ закричала она.—Что? Тамъ, говорятъ, происходятъ ужасы!

Онъ посмотрѣлъ на нее безумнымъ взглядомъ.

— Ничего... ничего... Мнѣ жаль, что по мнѣ не прошла казачья нагайка!

— Петя! Петя! Опомнись, что ты говоришь!

Петръ Петровичъ бѣгалъ изъ угла въ уголъ кабинета, хватался за голову, стоналъ.

Анна Ивановна, въ слезахъ, ломая руки, бѣгала за нимъ.

— Что съ тобой? Ради Господа Бога! Ты боленъ? Доктора! Доктора!

— Никакихъ докторовъ! Никакихъ докторовъ!—дикимъ голосомъ завопилъ Петръ Петровичъ и треснулъ кулакомъ по письменному столу.— Я убью всякаго, кого увижу!

Онъ упалъ на диванъ, зарыдалъ.

У него былъ какой-то припадокъ.

— Почему? Почему меня не ударили нагайкой? Я бы научился такъ же ненавидѣть, какъ они. Безъ этого нельзя, нельзя такъ ненавидѣть!

Онъ вскочилъ.

— Нѣтъ! Я не могъ бы такъ... Въ моихъ жилахъ течетъ кровь дѣдовъ, которые насмерть задирали на конюшнѣ! Въ ихъ крови терпѣніе, вѣковое терпѣніе! У нихъ больше слезъ, чѣмъ крови! Я бы не могъ такъ... надъ могилами братьевъ... сына... Я потребовалъ бы висѣлицъ, палачей, плетей, крови! Крови! Ключевъ мяса!

Это были вопли, рыданья.

У него сдавило горло.

Онъ разорвалъ на себѣ воротникъ.

— Петя! Петя!

— Ты слушай... Ты помнишь, когда Паша... Паша... умеръ... тебѣ бы сказали: „Не плачь, не плачь, устраиваешь другихъ“... Ты бы... ты бы... отвѣчай... отвѣчай... послушалась? Послушалась?

— Петя! Петя!

— Перестала? Перестала? По Пашѣ? По Пашѣ?

— Петя! Паша! Петя! Я съ ума сойду!

— А они... а они... затихали... сами... сами въ обморокъ падаютъ... и ни слова... ни крови...

И онъ вдрутъ завылъ.

Дико завылъ:

— И ихъ!.. Ихъ же! Почему меня, меня не ударили нагайкой вмѣстѣ съ ними! Я ненавиждѣлъ сильнѣе! Сильнѣе!

— Да что же?.. Боже!.. Да что же, что съ тобой?

— Ты помнишь... Семенчукова старшаго сына... студентъ!.. застрѣлился который потомъ... застрѣлился... Когда въ университетѣ былъ... Помнишь, когда ворвалась полиція... я ходилъ еще... помнишь?.. Студентъ одинъ... разбилъ кулакомъ стеклянную дверь... въ крови... выскочилъ на балконъ... „Насъ бьютъ!..“ Прыгнулъ съ балкона... Публика стояла, смотрѣла... и я... Казаки... войска... бросился съ балкона... о мостовую... Въ толпѣ, въ толпѣ... я встрѣтилъ Семенчукова сына... Бѣлоподкладочникъ... Онъ плакалъ, трясся. „Что съ вами?..“ — „Почему я не тамъ, съ ними?.. Почему я не могу тамъ съ ними?.. Сходка была...“ Ему сказали... „Вамъ, г. Семенчуковъ, съ нами... съ нами конечно, дѣлать нечего“... Онъ повернулся и ушелъ... „Дрянъ! Хамово отродье! Жиды! Мы мундиръ носимъ“!.. Ты помнишь, какъ онъ всегда... про мундиръ... про обязанности студента... а тутъ... Онъ застрѣлился, когда тотъ... прыгнулъ который... о мостовую... въ больницѣ умеръ... застрѣлился сынъ Семенчукова... застрѣлился!..

Анна Ивановна въ тревогѣ, въ ужасѣ оглядѣлась:

„Гдѣ Петръ Петровичъ держитъ револьверъ?“

И какъ ни велика ни страшна была ея тревога, она не могла не подумать:

„Господи! Время, время какое! Съ мальчика, съ гимназиста почти, Кудрявцевъ... одинъ изъ первыхъ въ Россіи... дѣятель... примѣръ можетъ взять!“

— Но съ тобой-то? Съ тобой? Скажи о себѣ!

— Ничего... Видишь!.. Ничего!..

— Какъ тебя Богъ спасъ...

— Богъ!

Онъ разсмѣялся горькимъ смѣхомъ:

— Приставъ этотъ... или помощникъ... Какъ его?..

Вотъ что у насъ... Онъ!

И снова на него налетѣлъ приливъ бѣшенства!

— Налетѣли они... спрятаны гдѣ-то были... Неужели ты не понимаешь? Лучше казацкая плеть, чѣмъ прикосновеніе полицейской руки!.. Появился онъ откуда-то, узналъ, должно-быть... схватилъ меня... потащилъ... тащили кто-то много... въ формахъ... я отбивался... ничего не помню... только въ экипажъ бросили...

Петръ Петровичъ помнилъ, дѣйствительно, только, что кругомъ были вопли, крики, какія-то лошадиныя морды, какъ страшнымъ вѣтромъ дунуло ему въ лицо... что-то грохнуло... залпъ.

А кругомъ него городовые говорили:

— Ваше превосходительство!.. Ваше превосходительство!..

А приставъ Коцура кричалъ:

— Въ экипажъ его! Въ экипажъ! И скорѣй назадъ! Скорѣй сюда!

Петръ Петровичъ закрылъ глаза руками:

— Ужасъ!

Онъ еще слышалъ, видѣлъ все.

Анна Ивановна стояла надъ нимъ и думала, мучительно думала:

„Гдѣ онъ держитъ револьверъ? Гдѣ?“

Но припадокъ отнялъ всѣ силы у Петра Петровича. Наступала реакція.

Онъ сидѣлъ теперь просто разбитый и утомленный.

Просыпался обычный Петръ Петровичъ, облакающій все въ красивую фразу.

Проплакавшись, онъ отнялъ руки отъ лица и при-
тянулъ къ себѣ Анну Ивановну.

— Успокойся, Аня! — сказалъ онъ ей, слабо и печально улыбаясь. — Ничего! Я только былъ въ ужасѣ, какъ человѣкъ, видѣвшій чудо. Я видѣлъ воскресшаго изъ мертвыхъ. Я видѣлъ новый русскій народъ.

XXIII.

— Вамъ-то ужъ стыдно и грѣшно! — чуть не со слезами говорила Семену Семеновичу Мамонову Анна Ивановна въ своей гостиной.

Это было черезъ четыре дня послѣ похоронъ.

— Наконецъ - то вы появляетесь! Я тутъ съ ума схожу! Пойдите, пойдите скорѣй къ Петру Петровичу! Поговорите съ нимъ! Вы увидите, что это онъ! Все тотъ же Петръ Петровичъ! Пойдите!

— Анна Ивановна, милая! Не безпокойтесь. Ручаюсь! Черезъ полчаса я его воскрешу! Черезъ полчаса я выведу его къ вамъ въ гостиную, какъ Лазаря. Какъ Лазаря!

И, войдя въ кабинетъ, Семень Семеновичъ сказалъ такимъ живымъ и радостнымъ голосомъ, который „сразу долженъ былъ оживить бѣднягу Петра“:

— Здравствуй, Петръ Петровичъ!

Но даже Семень Семеновичъ смолкъ, увидавъ Петра Петровича.

Передъ нимъ сидѣлъ пожелтѣвшій, осунувшійся, постарѣвшій Петръ Петровичъ, въ бородѣ, въ головѣ котораго было вдвое больше сѣдинъ.

Петръ Петровичъ улыбнулся ему слабой улыбкой:

— А?! Здравствуй... спортсмень... Отъ Зеленцова ко мнѣ? Во сколько секундъ ты сдѣлалъ этотъ „конецъ“?.. Да кстати, скажи: кто тебя просилъ бѣгать парламентаромъ отъ меня къ Зеленцову?

— Ну его къ дьяволу! — сердито воскликнулъ Семень Семеновичъ. — Этихъ генераловъ отъ радика-

лизма! Удивительная страна! Населена урожденными аристократами! Всѣ аристократы. Русскіе люди — самая аристократическая нація. Всѣ чѣмъ-нибудь, да аристократы. Кромѣ развѣ дворянъ, которые одни, кажется, стыдятся пользоваться своими привилегіями...

— Кромѣ одной: брать за пособіемъ пособіе. Продолжай!

— Вотъ, ей Богу! Всѣ дерутъ носъ. Исключительное занятіе. Страна съ поднятыми носами! Даже Силуановъ какой-нибудь, и тотъ: „Потому, какъ, стало-быть, мы купцы, еще на что согласимся...“ Мужикъ деретъ носъ: „Безъ насъ, безъ мужиковъ, нешто возможно?“ Рабочій деретъ носъ: „Мы—рабочіе!“ Словно это ни вѣсть какая привилегія, что онъ слесаремъ тамъ гдѣ-то! Первая гайка въ государствѣ!? Зеленцовъ этотъ... Что онъ тамъ по крѣпостямъ шлялся, въ Якутской области цыгнгоу, что ли, болѣлъ, чѣмъ тамъ еще... Такъ я-то тутъ при чемъ? Ради Бога!.. Такъ ему всѣ должны въ ноги кланяться, его грязныя ноги цѣловать. Тфу! Это у нихъ называется свободой. Это тиранія, а не свобода. Это хуже всякой тираніи. Каждый русскій въ душѣ автократъ!

— Оставимъ. Что тебя привело ко мнѣ, мой другъ?

— Дѣло. Вотъ странный вопросъ: что привело? Сначала желаніе тебя видѣть, а потомъ дѣло. Слушай, Петръ. Теперь или никогда. Ты понимаешь, какой моментъ. Теперь или никогда. Ты долженъ стряхнуть съ себя хандру. Теперь хандра — преступленіе. Измѣна! Да, да! Кто хандритъ, тотъ измѣняетъ! Мы должны встать. Мы должны надѣяться. Мы, друзья порядка! Мы, друзья умѣренности! Мы, друзья коренного прогресса! Исторія требуетъ насъ.

Исторія создала моментъ для нашего появленія. Исторія говоритъ намъ, какъ режиссеръ актеру: „Вашъ

выходъ!“ И мы не должны пропустить своего выхода. Иначе вся пьеса рухнетъ! Иначе — занавѣсъ! Насъ слушаютъ! Это нашъ моментъ! Мы появимся во имя Россіи! Во имя спасенія родины! Во имя покоя гражданъ! Гг. Зеленцовы показали, куда они ведутъ Россію. Я говорю объ этой „бойнѣ за бойнями“. Ты знаешь!

— Одинъ вопросъ. Ты былъ тамъ, на похоронахъ?

— Я?!

— Отвѣчай. Гдѣ былъ ты?

— Мы были у Семенчукова. Онъ передъ этимъ ѣздилъ къ губернатору...

— Просить, чтобы дѣлали все, что угодно, но только за городомъ?

— Какія ты предполагаешь гнусности! Извини, гнусности! Я удивляюсь, какъ ты можешь...

— Стой. Отвѣчай. Отвѣчай. Вы знали, что готовится тамъ, на кладбищѣ?

— Откуда...

— Вы знали или нѣтъ? Вы слышали или нѣтъ?

— Стефановъ болталъ... Ну да, именно, болталъ направо и налево... что полицмейстеръ сказалъ, что это „последній долой“, какъ онъ называетъ... Но мало ли, что болтаетъ Стефановъ... мальчишка...

— Полицмейстеръ не мальчишка. Ты съ нимъ видѣлся потомъ?

— То-есть... не говорилъ... такъ... на улицѣ...

— И кланялся?

— Но...

— И кланялся?

— Было бы странно, если бъ я не сталъ кланяться съ человѣкомъ, разъ, хотя бы и къ несчастью, знакомъ. Мы не въ дикой странѣ. Мы не дикари.

— Оставимъ въ сторонѣ вопросъ: дикари мы или хуже. Итакъ, вы сидѣли и мирно возмущались въ

гостиной и говорили — даже тутъ только говорили! — хорошія слова.

— Петръ, ты не похожъ на себя!

— Это все равно. Я былъ тамъ. На кладбищѣ. Въ это самое время, какъ вы сидѣли за чаемъ, завтракали, — быть-можетъ, за виномъ, — они, morituri, которыхъ должны были съ вашего вѣдома избить, заботились о вашемъ спокойствіи, хотѣли привлечь къ себѣ ваше „общественное“ мнѣніе! Наивные, наивные милые, герои и глупцы! Слушай же теперь! Кромѣ гражданина, — а ты „политикана“ смѣшиваешь часто съ гражданиномъ, — кромѣ „политикана“, есть еще человѣкъ. И этотъ человѣкъ, который сидитъ во мнѣ, вотъ здѣсь, во мнѣ, говоритъ мнѣ: „Пусть тѣ, другіе, надѣлаютъ ошибокъ, — безчестно пользоваться ошибками другихъ. Пусть тѣ, другіе, будутъ побѣждены. Пораженіе — несчастье. Безчестно пользоваться несчастіемъ другихъ! Не трогайся, чтобъ не наступить на трупъ“...

— Но почему? Почему? Хотя бы для того, чтобы прекратить въ дальнѣйшемъ возможность такихъ. Извини меня, я въ твоихъ словахъ вижу много нервовъ. Но, извини меня, я не вижу логики.

— Тебѣ логика нужна? Логика? Такъ слушай. Въ этой тридцатитысячной толпѣ, несшей свои знамена, хоронившей своихъ для нихъ „героевъ“, говорившей и слушавшей рѣчи, я не узналъ тѣхъ, о которыхъ думалъ...

— Внѣшность, Петръ Петровичъ! Клянусь тебѣ: внѣшность! Стыдись! Какъ при твоёмъ умѣ...

— Ты былъ на кладбищѣ? Ты видѣлъ?

— Не былъ, но...

— Мы всѣ говоримъ о томъ, чего не знаемъ, и судимъ о томъ, чего не видѣли. Мы, истинно, лѣнны и не любопытны. Но приговоры выносить любимъ. На

основаніи того, что намъ „кажется“. Кажется, — такъ перекрестись. Или посмотри, — еще лучше. А я былъ и видѣлъ. „Внѣшность“, ты говоришь. Но можно поддѣлать: красные флаги, надписи на нихъ, „свободу“ написать нарочно съ ошибкой, черезъ „а“, — вѣдь поддѣлываютъ и нотаріальные документы, — пусть думаютъ, что простой народъ написалъ. Но самого народа поддѣлать нельзя.

— Отлично-съ! Отлично! Ты все это и скажи намъ. Партіи, къ которой ты принадлежишь. Сзови насъ и скажи. Ты не знаешь, другіе, можетъ-быть, знаютъ и объяснять! Но такъ нельзя. Ты не имѣешь права. Ты — имя.

— Было!

— Сейчасъ оно опять воспрянетъ, какъ лозунгъ разумной умѣренности и прогресса! И это имя создалъ какъ ты, такъ помогли создать тебѣ и мы. Ты не смѣешь такъ... Ты лидеръ!

— Оставь, пожалуйста, глупыя слова! Извини меня, но ты напоминаешь мнѣ нашу горничную Акулину. Она „ужасно какъ рада“ тому, что происходитъ, — потому что солдаты по улицамъ ходятъ такъ ровно, хорошо и „безперечь музыка играетъ!“

— Оскорбляй меня!

— Я не оскорблять тебя хочу. А только сказать: мы другъ друга никогда не поймемъ. Для тебя всегда и все ясно. Если бъ Пилать тебя спросилъ: „Что есть истина!“ — ты отвѣтилъ бы ему: „резолюція“. Въ данную минуту „резолюція“, какъ въ другую минуту отвѣтилъ бы, быть-можетъ: „предначертанія министра“. Ты спортсменъ. Во всемъ владѣлецъ конскаго завода! Помнишь, когда мы ѣздили въ Москву на учительскій съѣздъ, ты, захлебываясь, спрашивалъ меня у Тѣстова: „Ты сколько учителей привезъ? Я сорокъ. Мои, братъ, вотъ какъ подобраны. Одинъ къ одному! Всѣ

какъ одинъ. Въ одинъ голосъ голоса подавать будутъ". Словно ты привезъ стаю гончихъ. Спортсменъ! И ты не виноватъ. Въ тебѣ только говоритъ кровь твоихъ предковъ, они подбирали гончихъ по голосамъ. Ты во всемъ видишь охоту!

— Я не имѣю причинъ стыдиться моихъ предковъ.

— Ты сказалъ объ этомъ Зеленцову, когда просился у него въ подѣсаулы?

— Ты невыносимъ!

— И я не уговариваю тебя стыдиться своихъ предковъ. Избави Богъ! Они выше всего ставили честь, и ты по наслѣдственности выше всего ставишь честь. Она для тебя дороже всего. Безъ нея ты, дѣйствительно, не можешь жить. Необходимый продуктъ. И потому дѣлаешь ее себѣ изъ всего. Когда ты былъ предводителемъ, ты съ гордостью говорилъ: „Ужъ даже если мы, предводители дворянства, выступаемъ съ требованіями"... Что ты этимъ хотѣлъ сказать? Самое ли это важное сословіе, или ужъ такое никуда непригодное, что, молъ, „если даже и оно поняло". Не разберешь! Но, во всякомъ случаѣ, ты дѣлалъ себѣ изъ этого честь! Когда тебя за „крайній либерализмъ" забаллотировали, ты изъ этого сдѣлалъ себѣ честь: „Теперь, когда я не являюсь представителемъ узкихъ сословныхъ интересовъ"!.. Ты камеръ-юнкеръ. Если тебя произведутъ въ камергеры, — ты будешь гордиться ключомъ. Если лишатъ камеръ-юнкерства, будешь гордиться: „независимый человѣкъ!" Если тебя выберутъ въ Государственную Думу, — ты будешь очень гордиться: „представитель народа", но если забаллотируютъ, — гордости твоей не будетъ границъ: „Мы, оппозиція!" Ты спортсменъ. Наѣздникъ. И вездѣ прискачешь первымъ. Я нѣсколько не таковъ. Извини меня.

Семень Семеновичъ поднялся весь красный:

— Петръ Петровичъ вы...

Но не выдержалъ:

— Значить, ты теперь безъ партіи?

— Я наединѣ со своей совѣстью! Оставь меня, пожалуйста, въ покоѣ. Прощай!

Семень Семеновичъ какъ бомба вылетѣлъ изъ кабинета.

— Онъ у васъ съ ума сошелъ. Пошлите за психіатромъ! — выпалилъ онъ, на ходу цѣлуя руку у Анны Ивановны.

Та такъ и застыла на мѣстѣ.

XXIV.

И вотъ, Петръ Петровичъ Кудрявцевъ стоялъ у входа въ свою, „кудрявцевскую“, гостиную, гдѣ г. Стефановъ молодымъ, безконечно веселымъ и радостно-запорнымъ голосомъ сравнивалъ Россію, залитую кровью и борящуюся Россію, съ прокишей бутылкой кваса.

Кто-то изъ гостей хотѣлъ зачѣмъ-то пройти въ сосѣдную комнату, открылъ портьеру.

— А, Петръ Петровичъ!..

Пришлось войти и улыбаться дамамъ.

Не успѣлъ еще Петръ Петровичъ сдѣлать общаго поклона, какъ передъ нимъ уже стоялъ и шаркалъ г. Стефановъ.

— Его превосходительство просилъ привѣтствовать васъ и поздравить глубокоуважаемую Анну Ивановну! Его превосходительство страшно сожалѣетъ... Но такое время! Такая масса неотложныхъ дѣлъ!.. Его превосходительство крайне сожалѣетъ, что принужденъ ограничиться только посылкой черезъ меня этихъ цвѣтовъ...

Въ углу стояла колоссальная корзина чайныхъ розъ.

— И не могъ явиться самъ, чтобъ засвидѣтельствовать свое почтеніе вамъ и поздравить глубокоуважаемую Анну Ивановну...

Петръ Петровичъ покраснѣлъ и виновато взглянулъ на жену.

„За всѣми этими дѣлами“ только онъ позабылъ, что сегодня день рожденія его жены.

— Благодарю его превосходительство... Слишкомъ... право, слишкомъ любезно.

И перездоровавшись со всѣми присутствующими онъ сказалъ, насколько позволяли обстоятельства суше, такому любезному гостю жены:

— А подходя, я невольно слышалъ, какъ вы изволили острить относительно Россіи. Я хотѣлъ сказать вамъ по этому поводу...

Анна Ивановна смотрѣла на него умоляюще.

— Впрочемъ, нѣтъ... Я только хотѣлъ сказать, что очень завидую вамъ: вы можете шутить въ такія минуты.

— Слово въ слово слова его превосходительства!— радостно воскликнулъ г. Стефановъ и даже чуть ли не всплеснулъ руками.—Его превосходительство говорить, что шутить не время. Необходимо повсемѣстно военное положеніе. Предоставленіе губернаторамъ неограниченной власти. Чтобъ все повиновалось и шло въ ногу. А то помилуйте! То вѣдомство не подвластно, это не подвластно. Все въ разбродѣ. Печать вретъ, хотя бы... До чего распустили. О томъ, напримѣръ, собраніи...

Петра Петровича передернуло:

— Позволяютъ себѣ печатать: „разошлось не по своему желанію“. Насмѣшка! Или пишутъ объ этихъ похоронахъ: „Вчера казаки выѣзжали за городъ“. И

только! Издѣвательство? Публика ни о чемъ объ этомъ не должна знать.

— Но весь городъ...—тихо вставилъ кто-то.

— Вѣрите мнѣ: одни знаютъ, а другіе даже какой сегодня день не знаютъ! А тутъ всѣ узнаютъ. Его превосходительство вызываетъ цензора. Тотъ: „Ничего въ этомъ не вижу нецензурнаго. Казаки выѣзжали — и выѣзжали. Не война, что о передвиженіи войскъ нельзя сообщать“. Какъ вамъ это нравится? Его превосходительство, могу сообщить вамъ это пока конфиденціально, послать въ Петербургъ представленіе о немедленномъ введеніи военного положенія.

— Охъ, далъ бы Богъ!—молитвенно вздохнула одна изъ дамъ.

— Намъ съ Аней это все равно!—какимъ-то хриплымъ голосомъ сказалъ Петръ Петровичъ.—Мы уѣзжаемъ за границу.

Жена смотрѣла на него съ изумленіемъ.

Онъ улыбнулся ей:

— Развѣ ты еще, Аня, не сказала гостямъ, что мы рѣшили на-дняхъ ѣхать за границу?

Начались „ахи“, „охи“.

— Въ такое время? Теперь?

— Его превосходительство будетъ страшно сожалѣть! Страшно! Увѣряю васъ, страшно!

— А мы думали, вы въ Думу!

— И въ Думу не будете? Какъ?

— Куда?

— Въ Италію... въ Испанію... Еще не рѣшено... Сначала въ Вѣну.

— И съ дѣтьми?

— И съ дѣтьми.

— Надолго?

— Право, не знаю...

Черезъ три дня Петръ Петровичъ и Анна Ивановна уѣхали.

— Возьмите всѣ эти цвѣты! Бросьте куда-нибудь! — сказала Анна Ивановна кондуктору, когда поѣздъ прошелъ платформу съ толпившимся на ней губернскимъ „мондомъ“.

Въ сосѣднемъ купе шумѣли дѣти, радостно возбужденныя поѣздкой.

— Я рада, — сказала Анна Ивановна, — всей душой рада, что мы уѣзжаемъ! Ты столько перемучился здѣсь въ послѣднее время, что я ненавижу этотъ городъ такъ же, какъ раньше его любила. А все-таки, знаешь ли, въ глубинѣ души, если исповѣдаться тебѣ какъ слѣдуетъ, мнѣ грустно. Уѣзжать изъ Россіи теперь. Настаютъ такіе дни. Мы такъ ихъ ждали. Мнѣ кажется, словно мы уѣзжаемъ изъ дома передъ самымъ свѣтлымъ праздникомъ.

— Мы не постились, Аня, и намъ нѣтъ такого праздника. Мы говѣли такъ, для виду. Ёли на маслѣ, на мясномъ бульонѣ. Шутя. А „они“, — они говѣли семь недѣль. По-настоящему говѣли. Имъ праздникъ.

— Хорошо сказано! — сказала Анна Ивановна, любясь мужемъ, его сѣдиной, его грустной улыбкой. — Ты у меня умникъ, хорошо говоришь.

— Говорятъ, что твой мужъ ни на что больше, кромѣ красивой фразы, и не способенъ, Аня... Ну, да Богъ съ ними!

И съ той же грустной улыбкой онъ привлекъ ее къ себѣ, положилъ ея голову къ себѣ на плечо и закончилъ, глядя въ окна на сѣрыя, безконечныя, унылыя, угрюмыя и мрачныя въ надвигающихся сумеркахъ, словно грозныя поля:

— Хорошо, Аня, жить въ той странѣ, гдѣ уже была революція.



только! Иадѣвательство? Публика ни о чемъ объ этомъ не должна знать.

— Но весь городъ...—тихо вставилъ кто-то.

— Вѣрите мнѣ: одни знаютъ, а другіе даже какой сегодня день не знаютъ! А тутъ всѣ узнаютъ. Его превосходительство вызываетъ цензора. Тотъ: „Ничего въ этомъ не вижу нецензурнаго. Казаки выѣзжали — и выѣзжали. Не война, что о передвиженіи войскъ нельзя сообщать“. Какъ вамъ это нравится? Его превосходительство, могу сообщить вамъ это пока конфиденціально, послалъ въ Петербургъ представленіе о немедленномъ введеніи военного положенія.

— Охъ, далъ бы Богъ!—молитвенно вздохнула одна изъ дамъ.

— Намъ съ Аней это все равно!—какимъ-то хриплымъ голосомъ сказалъ Петръ Петровичъ. —Мы уѣзжаемъ за границу.

Жена смотрѣла на него съ изумленіемъ.

Онъ улыбнулся ей:

— Развѣ ты еще, Аня, не сказала гостямъ, что мы рѣшили на-дняхъ ѣхать за границу?

Начались „ахи“, „охи“.

— Въ такое время? Теперь?

— Его превосходительство будетъ страшно сожалѣть! Страшно! Увѣряю васъ, страшно!

— А мы думали, вы въ Думу!

— И въ Думу не будете? Какъ?

— Куда?

— Въ Италію... въ Испанію... Еще не рѣшено... Сначала въ Вѣну.

— И съ дѣтьми?

— И съ дѣтьми.

— Надолго?

— Право, не знаю...

Черезъ три дня Петръ Петровичъ и Анна Ивановна уѣхали.

— Возьмите всё эти цвѣты! Бросьте куда-нибудь! — сказала Анна Ивановна кондуктору, когда поѣздъ прошелъ платформу съ толпившимся на ней губернскимъ „мондомъ“.

Въ сосѣднемъ купе шумѣли дѣти, радостно возбужденныя поѣздкой.

— Я рада, — сказала Анна Ивановна, — всей душой рада, что мы уѣзжаемъ! Ты столько перемучился здѣсь въ послѣднее время, что я ненавижу этотъ городъ такъ же, какъ раньше его любила. А все-таки, знаешь ли, въ глубинѣ души, если исповѣдаться тебѣ какъ слѣдуетъ, мнѣ грустно. Уѣзжать изъ Россіи теперь. Настаютъ такіе дни. Мы такъ ихъ ждали. Мнѣ кажется, словно мы уѣзжаемъ изъ дома передъ самымъ свѣтлымъ праздникомъ.

— Мы не постились, Аня, и намъ нѣтъ такого праздника. Мы говѣли такъ, для виду. Ъли на маслѣ, на мясномъ бульонѣ. Шутя. А „они“, — они говѣли семь недѣль. По-настоящему говѣли. Имъ праздникъ.

— Хорошо сказано! — сказала Анна Ивановна, любясь мужемъ, его сѣдиной, его грустной улыбкой. — Ты у меня умникъ, хорошо говоришь.

— Говорять, что твой мужъ ни на что больше, кромѣ красивой фразы, и не способенъ, Аня... Ну, да Богъ съ ними!

И съ той же грустной улыбкой онъ привлекъ ее къ себѣ, положилъ ея голову къ себѣ на плечо и закончилъ, глядя въ окна на сѣрыя, безконечныя, унылыя, угрюмыя и мрачныя въ надвигающихся сумеркахъ, словно грозныя поля:

— Хорошо, Аня, жить въ той странѣ, гдѣ уже была революція.



ПЕРЕДЪ ВЕСНОЙ.

Sa majesta la miseria!
„Andrea Chenie“, atto I.

— Земли! Земли!

Слышите ли вы этотъ голодный вой, истинно волчій вой, который доноситъ вѣтеръ съ покрытыхъ снѣгомъ полей,—вѣтеръ, который стонетъ, какъ передъ бѣдой въ полуразвалившихся трубахъ нищихъ избъ, вѣтеръ, который разметываетъ почернѣвшія соломенные крыши.

— Гарантій! — раздается въ городахъ.

— Конституціи! — требуютъ одни.

— Нѣтъ, республики! — кричатъ другіе.

— Пли! — командуютъ третьи.

„Достигъ я высшей власти!“

Меланхолически декламируетъ графъ Витте:

„Который годъ я властвую спокойно,

А счастья нѣтъ моей душѣ!

Напрасно мнѣ чиновники сулятъ

Дни долгіе, дни власти безмятежной...

Ни власть ни жизнь меня не веселятъ!“

Земли! Земли! — гремятъ, гремятъ аккорды голоднаго воя.

— Восьмичасового рабочаго дня! — требуетъ пролетаріатъ.

— Прямой подачи голосовъ!

— Нѣтъ! Двухстепенной! — спорятъ другіе.

— Трехстепенной!

— Нѣтъ-съ! Энергичныхъ мѣръ! Продленія осадныхъ положеній! — вопять четвертые.

— Повѣсить! — командуютъ пятые.

„Я думалъ свой народъ

Въ довольствіи, во счастіѣ успокоить,

Свободами любовь его снискать,

Но отложилъ пустое попеченье!

Живая власть для черни ненавистна!“

Плачетъ голосъ графа Витте.

— Земли! Земли! — поетъ деревня.

— Земли! Земли! — гудить, вопить, растеть голодный вой.

— Дѣйствительной неприкосновенности личности!

— Двухъ палатъ!

— И четырехъ свободъ!

— Одной воли мало?! — язвительно хихикають третьи.

— Пори! — командуютъ четвертые.

„Что ни возьмутъ назадъ, —

Все я виновникъ тайный!

Союзы я лишилъ свободы!

Свободу у собраній отнялъ я же!

И слово кто лишилъ свободы? Я!

Въ печати я искалъ себѣ опоры,

Свободой мнилъ ее я осчастливить!

Вслѣдъ за редакторомъ редактора сажаютъ!..

И тутъ молва лукаво нарекаетъ

Виновникомъ редакторскихъ невагодъ.

Меня! Меня, премьеръ-министра!“

Рыдаетъ голосъ графа Витте.

— Земли! Земли! — несется вой со всей земли.

— На баррикады!

— Бей!

— Я умираю!

— Патроновъ не жалѣть!

„И мальчики кровавые въ глазахъ!..“

Кончается монологъ графъ Витте.

— Земли! Земли! — растутъ, гремятъ и скоро все собой покроютъ аккорды голоднаго воя.

Весна идетъ!

Не ищите въ моихъ словахъ аллегоріи. Тѣмъ болѣе, радостной.

Я не собираюсь пѣть „неблагонадежную“ весну, которую вызывалъ князь Святополкъ-Мирскій своимъ веселымъ возгласомъ:

— Довѣріе!

Я говорю о той, настоящей веснѣ, которая начинается въ мартѣ, когда ломаются рѣки, сходитъ снѣгъ и обнажаются мокрыя, черныя поля.

И не радостно, — съ печалью, съ мучительной тревогой, съ ужасомъ, какъ говорить это въ семьѣ, гдѣ есть чахоточный, говорю я:

— Весна идетъ!

Родина мать!

Вражескими и дружескими руками израненная, истекающая кровью, родина!

Воинъ, смертельно раненный въ несчастной войнѣ.

Не оправилась ты, не зажили еще раны, полученныя тобой на поляхъ битвъ, — какъ сотни новыхъ, кровавыхъ ударовъ, глубокихъ кинжальныхъ ранъ поразили тебя.

Сто тридцать ранъ еще не зажили, сто тридцать ранъ, — въ 130-ти городахъ, которыя ты получила въ день объявленія дѣйствительной неприкосновенности личности.

Еще дымится рана противъ сердца, нанесенная тебѣ въ Москвѣ.

Еще раздираютъ твое мясо, еще крутятъ и вертятъ кинжалъ въ трехъ огромныхъ ранахъ — Кавказъ, Прибалтійскій край, Дальній Востокъ.

И мало этого!

Еще!

Какъ тургеневскій „лишній человѣкъ“, ты должна со смертной тоскою думать:

„Пусть только вскроются рѣки, и я умру“.

Израненная, неоправившаяся, кровоточащая, — ты должна еще, какъ умирающая отъ чахотки, съ ужасомъ ждать весны.

Весны, когда снѣгъ откроетъ мокрыя, черныя поля крестьянину:

— Паши!

И онъ пойдетъ пахать землю, которая „ничья, а Божья“.

Въ какія формы тогда облечется этотъ голодный вой:

— Земли!

Какія движенія будутъ сопровождать этотъ крикъ, этотъ вопль голоднаго и озвѣрѣвшаго отъ голода и безпросвѣтно темнаго человѣка?

Вспомните пророчество, угрозу, заключенную въ былинѣ, созданной народомъ, о богатырѣ Ильѣ.

Тридцать лѣтъ сидѣлъ сиднемъ Илья Муромецъ, и пришли калики перехожіе, которые много странъ исходили, и много видѣли, и видѣли, какъ живутъ другіе люди.

И всталъ Илья и пошелъ.

Куда пойдетъ онъ теперь? И что раздавить на своемъ пути? И что уцѣлѣть?

И останутся ли еще среди насъ, господа, люди, чтобъ оплакать массу, — и какую! — лишнихъ, ненужныхъ, бесполезныхъ и ни въ чемъ неповинныхъ жертвъ?

Шумъ, поднявшійся въ большихъ городахъ, разбудилъ спавшій народъ.

Онъ спалъ въ темнотѣ и грезилъ своимъ любимымъ сномъ.

Который лежитъ на самомъ днѣ, въ тайникахъ его души.

— Земля ничья, а Божья. Земля можетъ принадлежать только „міру“. И землей никто „владѣть“ не можетъ, какъ не можетъ владѣть воздухомъ, водой, огнемъ.

Что, если, проснувшись, онъ начнетъ осуществлять эту мечту, этотъ вѣковѣчный сонъ?

Эту первобытную идею?

И какими мѣрами?

Какіе темные слухи пойдутъ среди народа?

Какимъ чудовищнымъ вѣстямъ дастъ онъ вѣру?

И что онъ, темный, бесконечно темный, слѣпой отъ невѣжества, слѣпой отъ голода, совершитъ во имя этихъ слуховъ, во имя этихъ вѣстей?

Какая пугачевщина готовится?

И какія новыя, чудовищныя, еще невиданныя формы примутъ ужасы, которымъ суждено, быть-можетъ, совершиться и заставить отъ негодованія, отъ состраданія, отъ отчаянія, отъ страха содрогнуться весь цивилизованный міръ.

Въ голодномъ вой:

— Земли! Земли!

Уже слышится приближеніе страшной весны.

Имѣете ли вы уши, чтобъ слышать, слышите ли вы этотъ вой? Понимаете ли вы, что онъ говоритъ и что предвѣщаетъ?

Это не вѣтеръ востъ въ снѣгомъ покрытыхъ поляхъ. Это не волки воютъ, кружась при лунномъ свѣтѣ.

Это человѣческій вопль, отъ горя ставшій похожимъ на вой голодныхъ волковъ.

Революціонеры говорятъ:

— Мы здѣсь ни при чемъ. Мы работаемъ надъ городскимъ пролетаріатомъ. Мы деревни еще не трогаемъ. И поднимать ее теперь не въ нашихъ расчетахъ. Можете быть спокойны. Мы деревни не тронемъ.

Такъ говорятъ вожди революціонеровъ. Шефы. Главари. Главной штабъ революціи.

Но они такъ увѣрены въ дисциплинѣ всѣхъ и каждаго въ своей партіи, — больше, — въ своихъ партіяхъ?

Правда, ихъ хвалили.

И даже они слышали похвалы оттуда, откуда они могли ждать всего, кромѣ похвалъ.

Похвала врага! Можетъ ли быть выше „дань справедливости“?!

Графъ С. Ю. Витте говорилъ:

— Единственная организованная партія въ Россіи — это, надо отдать имъ справедливость, революціонеры.

И даже добавлялъ, бесѣдуя съ иностранными корреспондентами:

— Ихъ организація и дисциплина поистинѣ изумительны!

Но, господа, цѣна похвалы зависитъ еще отъ времени, когда похвала говорится.

Помните всегда старичка Крылова и кусочекъ сыра, и ворону, и лисицу.

И въ дѣтскихъ хрестоматіяхъ печатаются дѣльные и интересныя вещи, которыя не мѣшаетъ знать.

Да не кружится „съ похвалъ вѣщунына голова“!

Васъ хвалили „передъ самой Москвой“.

Васъ хвалили, готовясь освистать революцію пулями и шрапнелью.

У васъ, быть-можетъ, „вскружилась голова“, и вы „дерзнули“...

Но оставимъ до другого времени этотъ споръ нагъ слишкомъ еще рыхлыми могилами.

Итакъ, вы вполне увѣрены въ дисциплинѣ всѣхъ и каждого въ вашихъ партіяхъ?

Вы не допускаете возможности, что найдутся „уединенные умы“, — одни честолюбцы, другіе фанатики, которые, не ожидая вашего „приказа сверху“, изъ свой страхъ и рискъ, думая послужить интересамъ революціи, думая, что они дѣйствуютъ въ духѣ партіи, — начать „поднимать деревню“?

Вспомните.

Не было ли много, — даже слишкомъ много, такихъ случаевъ?

Вспомните „уединенный выстрѣлъ“ Соловьева?

Никого не спрашивая, ни съ кѣмъ не совѣтуясь, рѣшивъ въ умѣ своемъ, что убійство императора Александра II „въ интересахъ партіи, въ цѣляхъ революціи“, Соловьевъ ѣдетъ въ Петербургъ и совершаетъ покушеніе около Лѣтняго сада.

Покушеніе, которое своей неожиданностью больше всѣхъ удивило васъ, гг. революціонеры, вашихъ главарей и вождей?

Никакой комитетъ, никакой генеральный штабъ революціи такого „приговора“ не выносилъ.

Просто, „уединенный умъ“!

Хотѣлъ „оказать революціи услугу“, о которой въ то время никто не думалъ.

Вспомните Валеріана Осинскаго и исторію черниговскаго бунта.

Валеріанъ Осинскій рѣшилъ вопросъ просто:

Поднять народъ? Нѣтъ ничего легче!

И пустить въ ходъ „золотыя грамоты“, подложные царскіе манифесты о землѣ.

Революціонеры того времени, — большіе идеалисты, — нашли такой способ дѣйствій „недостойнымъ революціонеровъ“.

И попытка Осинскаго, — снова единичная, когда человѣкъ хотѣлъ самовольно дѣйствовать въ интересахъ партіи, — встрѣтила строгое порицаніе со стороны тогдашнихъ вождей.

Я цитирую два примѣра, которые уже засвидѣтельствовали нотаріусъ — исторія.

Ихъ довольно.

Думаете ли вы, увѣрены ли вы, что среди людей вашихъ убѣждений снова не найдется такихъ „уединенныхъ умовъ“?

Думаю, что увѣреніе вождей революціонеровъ, что они пока не тронутъ деревни, мало успокоительно.

Это ручательство за всѣхъ своихъ, прошлымъ не подтверждаемое.

Все остальное не болѣе утѣшительно.

Вопль:

— Земли! Земли!

Гремитъ настолько сильно, что въ этомъ голодномъ волчьемъ воѣ начинаютъ уже различать человѣческія, — настоящія человѣческія, — слова и постигать ихъ смыслъ.

Мы слышимъ, мы читаемъ:

— Въ виду ожидаемыхъ весной событій въ такой-то губерніи рѣшено завести стражниковъ. Шестнадцать.

— Въ такомъ-то уѣздѣ рѣшено завести пять.

Въ виду ожидаемаго въ домѣ пожара я приготовилъ полный графинъ воды!

Если бы готовилась Вареоломеевская ночь.

Если бы хотѣли воспользоваться предстоящимъ движеніемъ, чтобъ направить эту разбушевавшуюся стихію, чтобъ смести съ лица земли всю интеллигенцію...

Что такое интеллигенція?

Мнѣ вспоминается знаменитая ффраза Марата.

— Что ты называешь аристократіей? — спросилъ его Робеспьеръ.

— Аристократъ? Всякій, кто владѣеть имѣньемъ! Кто имѣетъ собственный домъ! Кто позволяетъ себѣ тратить на обѣдъ сто ффранковъ. Всякій, кто ѣдитъ на извозчикѣ!

Интеллигенція?

— Всякій, кто что-нибудь знаетъ.

Всякій, кто чему-нибудь учился. Всякій, кто умѣетъ читать не по складамъ и пишетъ съ буквой „ятъ“. Всякій, кто носитъ очки, пенснэ. Стрижется у парикмахера. Всякій, кто ходитъ не въ поддевкѣ. И даже тѣ, кто ходятъ въ поддевахъ, но изъ хорошаго сукна!

Если бы былъ проектъ заставить замолчать все, что есть мало-мальски понимающаго, мало-мальски думающаго въ странѣ.

И какимъ молчаніемъ! По восточной системѣ:

— Вѣчнымъ молчаніемъ!

Если бы имѣлось въ виду однимъ махомъ „избавить“ страну ото всѣхъ адвокатишекъ, докторишекъ, учительишекъ, ото всѣхъ студентишекъ, гимназистическихъ, ото всѣхъ земскихъ людишекъ, ото всѣхъ писателишекъ, мыслителишекъ.

Словомъ, ото всей „ученой сволочи“, какъ говорить „Московскія Вѣдомости“.

Тогда! Тогда и шестнадцать стражниковъ на губернію и пяти на уѣздъ было бы совершенно достаточно:

— Вотъ гдѣ гнѣздится зло! По черной лѣстницѣ второй этажъ, направо дверь!

Для указанія адресовъ этого было бы довольно. Но для борьбы съ населеніемъ, съ на-се-ле-ні-емъ...

Это вѣрѣ для борьбы съ ураганомъ.

Чтобъ отмахиваться!

Мы слышимъ и читаемъ:

— Тамъ, тамъ помѣщики сложились и сформировали свои вооруженные отряды, — цѣлые полки, — для борьбы съ безпорядками.

Читали даже, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ помѣщики приняли рѣшеніе:

— Жечь деревни, которыя будутъ жечь крестьянскія усадьбы.

Но позвольте, господа, это уже гражданская война?

Это уже призывъ къ гражданской войнѣ?

И какой!

Въ какихъ, самыхъ ужасныхъ, самыхъ невѣроятныхъ, даже, кажется, неслыханныхъ формахъ?

Законовъ болѣе не существуетъ?

„Участвующій въ складчинѣ“ помѣщикъ командуетъ своему полку:

— Пли!

И тотъ стрѣляетъ, въ кого ему укажутъ.

Смертные приговоры, — и десятки ихъ, и сотни, и, быть-можетъ, даже тысячи ихъ, — выносятся уже частными лицами?

Команда:

— Пли!

Сдѣлалась ужъ всеобщимъ достояніемъ?

Въ странѣ осталось только одно право? Право произвола?

И право произвола распространено уже на всѣхъ?

Что же называется анархіей?

Жизнь человѣческая находится не только въ рукахъ побѣдителя мирныхъ гражданъ, но и въ рукахъ всякаго труса?

Благовѣщенская исторія, гдѣ утопили 9,000 китайцевъ „изъ страха“, чтобъ они не взбунтовались, можетъ уже повторяться по всей Россіи?

Какой-нибудь трусъ-помѣщикъ,—не одни же только герои сѣютъ овесъ и разводятъ телятъ,—какой-нибудь трусъ-помѣщикъ, со страха вообразивъ себѣ Богъ знаетъ что, приказываетъ своимъ наемникамъ „на всякій случай лучше“ разстрѣлять цѣлую деревню:

— А то еще поднимутся! Лучше я ихъ, чѣмъ они меня!

Поди потомъ,—узнавай, хотѣли покойники бунтовать или не имѣли этого въ мысляхъ.

Но вѣдь и крестьяне отвѣтятъ той же монетой.

Ихъ будутъ разстрѣливать, у нихъ будутъ сжигать деревни, тамъ, гдѣ есть вооруженные наемники.

А что будутъ они, озвѣрѣвшіе и обезумѣвшіе, дѣлать тамъ, гдѣ нѣтъ такихъ наемниковъ, надъ беззащитными?

Что это за призывъ къ самому ужасному, самому звѣрскому взаимоистребленію?

Неужели же бѣдной родинѣ должно пережить еще и открытую междоусобную войну?

И гибнуть, и тонуть, и захлебываться въ братской крови?

Неужели Россія, которую привыкли называть святой, должна превратиться въ страну Каиновъ?

Возстанія будутъ подавлены правительственными войсками.

Несомнѣнно, что этимъ и кончится.

Нѣсколько пугачевщинъ сразу будутъ, въ концѣ-концовъ, подавлены, какъ была подавлена одна пугачевщина.

Но какія горы труповъ отдѣляютъ насъ отъ этого „конца концовъ“?

Какія горы труповъ, изъ-за которыхъ его не видно?

Ильѣ Муромцу не удастся осуществить наяву того сна, который грезился его младенчески наивнойдушѣ, когда онъ спалъ въ темнотѣ:

— Земля ничья, а Божья.

Въ эту, по его мнѣнію, „Божію землю“ онъ не придетъ.

Но какія же рѣки крови прольются на его пути? Какія рѣки человѣческой крови заставятъ его вернуться назадъ, къ себѣ, въ свою еще больше, въ свою вконецъ разоренную избу?

И сколько ихъ онъ не досчитается въ своей семьѣ?

И сколько ужасныхъ эпизодовъ сохранится въ семейныхъ хроникахъ помѣщичьихъ усадебъ?

Сколько жертвъ и съ той, но и съ другой стороны!

Нашей родинѣ принадлежитъ печальная привилегія ввести въ число питательныхъ продуктовъ, кромѣ лебеды и древесной коры, еще пули и штыки.

Но я спрашиваю у этихъ Маратовъ стараго режима, которые знаютъ только одно слово:

— Усмирить!

Даже голодъ, и тотъ „усмирить“!

Я спрашиваю у нихъ:

— Сколько же головъ нужно, чтобы въ странѣ водворилась тишина кладбища?

Тотъ Марать, Марать конвента, требовалъ сначала:

— Сорокъ тысячъ головъ для того, чтобы водворить порядокъ.

Черезъ нѣсколько дней онъ повысилъ запросъ:

— Двѣсти тысячъ головъ!

Но дальше тотъ Марать не пошелъ.

Сколько же миллионовъ головъ нужно, чтобы могильная тишина воцарилась среди 80.000.000 сельскаго населенія?

Но вѣдь кромѣ людей, мечтающихъ совершить величайшее чудо изъ чудесъ, — накормить штыкомъ, — есть, слава Богу, люди и обыкновеннаго, простого, здраваго смысла, желающіе предупредить бѣду.

Мы каждый день читаемъ.

Проектъ.

Проектъ раздачи казенныхъ земель.

Проектъ надѣленія удѣльными землями.

Проектъ принудительнаго выкупа части помѣщичьихъ земель.

— Нѣтъ, — говорятъ помѣщики войска Донского, — калмыцкія степи — вотъ обѣтованная земля! Гдѣ нѣтъ ни кустика, ни деревца, ни капли воды! Гдѣ ничто не растетъ! Вотъ гдѣ заниматься земледѣліемъ!

И каждый день мы читаемъ:

— Проектъ такой-то перерабатывается.

— Проектъ такой-то возвращенъ къ дополненію.

Петербургъ остался вѣренъ себѣ.

Если бы случился всемірный потопъ, — въ Петербургѣ объ этомъ написали бы бумагу.

Петербургъ въ январѣ пишетъ.

О томъ, что должно быть уже сдѣлано къ марту.

Господа, вамъ говорить и совѣтуетъ, — безъ надежды быть услышаннымъ! Я это знаю! — не чело-вѣкъ какой-нибудь партіи.

Я не принадлежу ни къ одной изъ существующихъ партій.

У меня есть своя партія. Ее составляютъ: я, моя совѣсть, мой здравый смыслъ, мои знанія Россіи, — быть-можетъ, и не Богъ вѣсть какія, но, во всякомъ случаѣ, не меньшія, чѣмъ у любого начальника департамента, — моя способность писать, способность, долгъ которой помогать мнѣ говорить то, что я думаю, что я чувствую, не заботясь въ эти тяжелыя для родины минуты ни о популярности, ни объ успѣхѣхъ, ни о похвалахъ, ни о томъ:

— Понравится это той партіи, другой? Старикамъ? Молодежи?

И вотъ что говорить мнѣ мой здравый смыслъ.

Это величественная идея, господа, сидя въ Петербургѣ, издать единообразный законъ:

— Для всей Россіи одинъ.

Но въ данномъ случаѣ, какъ во многихъ и многихъ, эту величественную идею надо оставить.

Рѣчь идетъ о жизни Россіи, а не о красотѣ и величественности канцелярскаго жеста.

Россія вѣдь не народъ. Россія — міръ народовъ. И нужды ихъ — такой пестрый калейдоскопъ, что голова кружится, когда представишь ихъ себѣ.

У насъ нѣтъ одного земельного вопроса, который можно бы рѣшить однимъ махомъ, однимъ почеркомъ пера.

Мало того, что каждая губернія, каждый уѣздъ, каждая волость, часто отдѣльное село, деревня — имѣютъ свой собственный земельный вопросъ.

Еще тогда, когда „надѣляли“ крестьянъ землей, сѣялись уже сѣмена будущихъ распрей, недостатковъ, голодовокъ, волненій, безпорядковъ.

Тамъ просто недостатокъ земли. Малые надѣлы.

Здѣсь черезполосица не даетъ жить и работать.

Тамъ лѣса нѣтъ.

Тутъ недостатокъ луговъ. Дѣйствительно:

— Куренка, скажемъ, и того некуда пустить.

Здѣсь, наконецъ, нѣтъ берега рѣки.

Извѣстны ли вамъ всѣ эти подробности?

Жизненные подробности земельного вопроса въ каждой отдѣльной крестьянской общинѣ?

Нѣтъ.

У васъ нѣтъ такой статистики, потому что вы статистиковъ боялись „изъ-за политики“.

Пока есть еще время, — немного времени! — спѣшите собрать эти свѣдѣнія и вмѣстѣ съ тѣмъ выиграть симпатіи и довѣріе разумной и наиболѣе просвѣщенной части сельскаго населенія.

Свѣдѣнія должны быть собраны на мѣстѣ.

Пусть выборные отъ крестьянъ и помѣщиковъ на мѣстахъ рѣшаютъ:

— Въ чемъ состоитъ у нихъ земельный вопросъ? Какія нужды требуется удовлетворить по ихъ мѣстамъ?

Этимъ вы отстоите ужасы весны.

Русскій крестьянинъ, — съ его „земля ничья, а Божья“, — большой мечтатель, но онъ хозяинъ прежде всего и дѣловой человѣкъ.

Онъ не вѣритъ и не повѣритъ никакимъ словамъ, и обѣщаніямъ и бумагамъ.

Онъ будетъ вѣрить только въ ту бумагу, которую отъ него „скрываютъ“, — въ бумагу, гдѣ „золотыми буквами“ написаны именно его мечты, именно то, что ему снилось въ его вѣковомъ снѣ.

Но когда онъ увидитъ, что въ комиссіяхъ по мѣстамъ кипитъ работа, и его же выборные люди говорятъ о нуждахъ его деревни, — онъ пойметъ, что для него, дѣйствительно, что-то дѣлается.

И, какъ дѣловой человѣкъ, подождетъ.

Надо только, конечно, не заставлятъ его терять терпѣніе въ этомъ ожиданіи.

Выборные крестьянскіе люди, видя, что въ комиссіяхъ, гдѣ они работаютъ, дѣлается настоящее дѣло, — съ своей стороны, — смогутъ опровергнуть и ложный вздорный слухъ и образумить тѣхъ, кто ему повѣрилъ:

— Стойте! Дѣло не такъ, а вотъ какъ.

Они сумѣютъ объяснить, и имъ повѣрятъ.

Повѣрятъ такъ, какъ не вѣрятъ казеннымъ бумагамъ:

— Не смѣтъ вѣрить вздорнымъ слухамъ!

Пора бы и намъ перестать вѣрить въ чудодѣйственную силу казенныхъ бумагъ.

Надо считаться съ этимъ вѣковымъ недоумѣемъ русскаго народа.

Вспомните, что даже бумага о волѣ во многихъ мѣстахъ встрѣтила недоумѣе:

— Не настоящая, не золотая грамота!

И вызвать доумѣе, настоящее доумѣе у простаго народа, что участь его, дѣйствительно, будетъ улучшена „по-доброму“, безъ крови и насилій,—единственный способъ для этого чрезъ его же деревенскихъ представителей.

Но этого, конечно, никогда не будетъ сдѣлано.

Почему?

Изъ-за „политическихъ соображеній“.

— Чтобъ эти выборные потомъ объединились?

Господа охранители, ничего не охранившіе, бросьте эту вѣчную „политику“.

Вы все охраняли школу, чтобъ въ нее не проникла политика. Что въ результатъ? Ни въ высшей ни въ средней школѣ, вотъ уже сколько времени, ничѣмъ, кромѣ политики, не занимаются.

Вы выдумали даже „зубатовщину“, чтобъ охранить отъ „политики“ рабочихъ. Что получилось?

Вы охраняли крестьянство даже отъ грамоты, чтобы вмѣстѣ съ грамотой не проскочила „политика“. И вотъ теперь вы съ ужасомъ ждете весенняго взрыва темноты и невѣжества.

Вездѣ „политика“, и вездѣ одно средство противъ нея.

Арестовали членовъ крестьянскаго съѣзда.

— Но вѣдь и ни въ одной республикѣ нельзя безнаказанно говорить того, что говорилось на этомъ съѣздѣ.

Вѣрно.

Положа руку на сердце, слѣдуетъ отвѣтить:

— Вѣрно!

Было отвратительно слушать многое, что говори-
лось.

Всѣ эти призывы „поднять дубину“ можно объ-
яснить только высокой температурой, которую каждый
изъ ораторовъ поднималъ все выше и выше.

Всякій разумный человѣкъ отлично знаетъ, что ду-
биной было разбито много головъ.

Но никогда еще дубина не вносила ни одной дѣль-
ной мысли ни въ голову, по которой била, ни въ го-
лову того, который билъ.

Ни тотъ ни другой отъ этого не становились умнѣе.

И вотъ люди, говорившіе эти рѣчи,—и даже люди,
такихъ рѣчей не говорившіе,—арестованы и сидятъ.

„Все обстоитъ благополучно“?

Но пора вѣдь понять, что идеи запретить нельзя.

Вы запираете человѣка.

А его идея продолжаетъ гулять по свѣту.

Дѣло уголовного закона,—закона, а не администра-
тивного „усмотрѣнія“, конечно,—опредѣлить:

— Что дѣлать съ людьми, призывавшими къ на-
силію?

Но всякій благоразумный человѣкъ долженъ быть
радъ, что идеи, волнующія крестьянскій умъ, выска-
зались.

Маякъ поставленъ.

Вотъ опасность!

Какъ ея избѣжать?

Страхомъ?

Не бояться.

Потому что голодны.

„Полтавская битва“ съ темнотой и невѣжествомъ
и голодомъ никого не образумила и никому не послу-
жила спасительнымъ примѣромъ.

Крестьянскіе безпорядки растутъ и растутъ. И весна
грозитъ ужасами.

И однимъ страхомъ ихъ не предупредить.

Можно запугать умъ. Но нѣтъ возможности запугать голодный желудокъ.

Не тамъ ищите адреса „политики“.

„Самая страшная“ политика родится не въ головѣ, „полной бреднями“, а въ пустомъ желудкѣ.

Надо подумать...

Когда?

Теперь конецъ января, а въ мартѣ вскрываются рѣки, и снѣгъ обнажаетъ мокрыя, черныя поля:

— Паши!

А Петербургъ долженъ писать.

И не кажется ли вамъ, какъ кажется мнѣ, что я говорю черепахѣ:

— Иди со скоростью тридцати верстъ въ часъ
Тогда поспѣешь!



ГРАФЪ ВИТТЕ.

Arma virumquecano.

Когда я думаю о С. Ю. Витте, мнѣ всегда вспоминается индускій богъ Вишну...

Надѣюсь, цензура не обидится?

Если одинъ — графъ, то вѣдь и другой тоже богъ.

Сравненіе, казалось бы, должны найти лестнымъ обѣ стороны?

По крайней мѣрѣ, за индускаго бога я ручаюсь.

Итакъ, когда я думаю о графѣ Витте, мнѣ вспоминается индійскій миѳъ, который рассказываетъ Ренанъ *)

Однажды восхитительнымъ весеннимъ утромъ богъ Вишну, подъ видомъ юноши царевича Кришна, спустился съ горъ въ цвѣтущую долину.

Весна была прекрасна! Но молодой богъ прекраснѣе еще.

Пятьсотъ пастушекъ, которыя пасли свои стада въ цвѣтущей долинѣ, какъ увидѣли, такъ и влюбились въ красавца-бога.

Каждой хотѣлось, — скажемъ словами Ренана, — протанцовать съ нимъ.

Но — женщины! — каждой хотѣлось, чтобъ съ ней одной только танцевалъ царевичъ.

*) Renan. Lettre à M. Berthelot.

Вишну — добрый богъ.

И онъ совершилъ чудо.

Очаровательное, поистинѣ!

Всемогущій! — онъ воплотился сразу въ пятьсотъ Кришнъ.

И каждый Кришна протанцоваль съ каждой хорошенькой пастушкой, и каждая пастушка была увѣрена, что съ нею одной танцоваль богъ.

Съ тѣхъ поръ онѣ стали удивительно строги по части нравственности.

И близко не подпускали къ себѣ простыхъ смертныхъ:

— Меня выбралъ богъ для танцевъ!

Такъ на всю жизнь сдѣлалъ богъ Вишну счастливыми сразу пятьсотъ пастушекъ.

У С. Ю. Витте всегда была эта божественная наклонность.

Сразу танцовать со всѣми

Еще на зарѣ его карьеры въ Одессѣ, — когда политически ему было одинъ годъ отъ роду, — онъ сотрудничалъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ и дружилъ съ „Одесскимъ Вѣстникомъ“.

Недурно, если вспомнить, что, по мнѣнію „Московскихъ Вѣдомостей“, слѣдовало повѣсить, — и немедленно! — весь „Одесскій Вѣстникъ“, а по мнѣнію „Одесскаго Вѣстника“, слѣдовало гильотинировать, — и какъ можно скорѣе, — всѣ „Московскія Вѣдомости“.

Его ласкаетъ Катковъ, и онъ очень друженъ съ барономъ Иксомъ, бывшимъ политическимъ ссыльнымъ С. Т. Герцо-Виноградскимъ, самымъ антиправительственнымъ человѣкомъ, какого когда-либо видѣлъ свѣтъ.

Въ своей „средней исторіи“ С. Ю. Витте танцуетъ то съ г. Антоновичемъ, — консерваторомъ изъ консер-

ваторовъ, — то съ В. И. Ковалевскимъ, бывшимъ нечаевцемъ.

И тотъ и другой довѣрчиво склоняють голову ему на плечо, пока богъ-Витте уноситъ ихъ въ вихрь упоительнаго вальса:

— На благо родины!

Правда, кончивъ танецъ, С. Ю. Витте сажаетъ своихъ дамъ не на стулъ, а мимо, около.

Такъ что ужъ тѣ никогда не могутъ подняться.

Онъ танцуетъ съ предприимчивыми людьми и танцуетъ съ тѣми, кто ихъ долженъ потомъ „поднять“.

Какъ поднять?

Захлестнуть петлю на шею и вадернуть на воздухъ.

Онъ танцуетъ съ С. И. Мамонтовымъ, увлекая его въ область грандіозныхъ предпріятій.

И танцуетъ съ банкиромъ Ротштейномъ, спасая его отъ суда, — съ банкиромъ Ротштейномъ, который долженъ содрать съ Мамонтова послѣдніе остатки кожи.

Онъ танцоваль съ Алчевскимъ.

И какъ клалъ ему Алчевскій голову на плечо:

— Я поѣду въ Петербургъ. Я переговорю съ Сергѣемъ Юльевичемъ.

И какъ онъ сѣлъ мимо стула...

Но длиненъ былъ бы перечень, съ кѣмъ танцоваль С. Ю. Витте. Какъ длиненъ синодикъ Грознаго Іоанна.

Онъ танцуетъ со всѣми.

И—божественный даръ!—всякій думаетъ, что онъ танцуетъ съ нимъ съ однимъ.

Онъ танцуетъ съ министромъ Сипягинымъ.

И какъ въ ногу! Сипягинъ въ восторгѣ.

Сипягинъ!

И ежегодные отчеты, сопровождающіе государственную роспись...

Кто откажетъ имъ въ изумительной талантливости?

Они читались 1-го января въ газетахъ съ такимъ интересомъ, съ какимъ газетная публика до тѣхъ поръ читала только уголовные романы.

Эти десять отчетовъ надо издать отдѣльной книгой!

Это документъ. Это памятникъ.

Они сыграли колоссальную роль въ пробужденіи общественнаго сознанія.

Написанные прекрасно, интересно, талантливо, порой блестяще, — они заставили массу публики, до тѣхъ поръ никакихъ „казенныхъ бумагъ“ не читавшую, думавшую про государственную роспись:

— Дѣло начальства, не наше!

Они заставили эту публику интересоваться государственными дѣлами.

Ихъ заслуга почти такъ же велика, какъ заслуга фельетона.

Лучшей похвалы для нихъ не найду.

Превосходные, общедоступные, фельетоны, они сдѣлали то, что сдѣлалъ фельетонъ:

— Вывели государственные вопросы на улицу.

И познакомили съ ними публику.

Они привили широкимъ кругамъ вкусъ заниматься государственными вопросами.

А отсюда — критиковать.

А отсюда — быть недовольными.

Ни для кого не секретъ, что въ составленіи этихъ блестящихъ отчетовъ принимали участіе лучшіе изъ нашихъ либеральнѣйшихъ профессоровъ.

Они съ увлеченіемъ работали „на Витте“.

Почему?

Они шушукались:

— Онъ нашъ. Онъ ведетъ...

Не помню, кому—но это было напечатано, кажется, г. Шипову—этотъ человѣкъ, танцовавшій съ Сипягинымъ, сказалъ:

— Конституція въ Россіи, по моему мнѣнію, необходима.

Но и „марксисты“, — въ то время революція была этой прекрасной маской, — но и марксисты считали С. Ю. Витте своимъ.

— Какъ!! Русскій?! Министръ?!

И вамъ отвѣчали съ яснымъ, — я сказалъ бы: съ дѣтски яснымъ взглядомъ:

— Онъ — марксистъ.

— Русскій?! Министръ?! Дайте мнѣ воды!

— Революція — война. Для войны нужна армія. Ея армія — пролетаріатъ. Пролетаріатъ формируется фабричной промышленностью. „Онъ“ создалъ грандіозную промышленность. Онъ занятъ только этимъ. Онъ работаетъ только надъ этимъ. Такимъ образомъ, онъ вербуетъ намъ армію. Говоря формулой Карла Маркса: чрезъ желѣзныя ворота капитализма онъ ведетъ насъ къ тому времени, когда орудія производства...

И такъ далѣе, и такъ далѣе, и такъ далѣе.

Все, что было самаго крайняго, бросалось на службу въ Министерство Финансовъ:

— На работу! На нашу работу!

И это увлеченіе охватывало не только юношей, у которыхъ пробивается первая бородка и первыя идеи.

Профессоръ Маркевичъ, чтобъ не цитировать многихъ другихъ, — профессоръ Новороссійскаго университета Маркевичъ, который долженъ былъ оставить кафедру вслѣдствіе „политической неблагонадежности“, пошелъ на работу въ Министерство Финансовъ.

А это былъ глубоко искренній и такъ же убѣжденный человѣкъ.

— Наше министерство!

Витте былъ чаровникъ.

И умѣлъ cadaго увлекать въ вихрь танца.

Началось съ того, что въ Петербургѣ пресерьезно думали:

„Деньги на изданіе „Освобожденія“ даетъ Витте. Его поругиваютъ. Но это для отвода глазъ“.

Были даже убѣждены:

— Никто, какъ онъ! Орудіе для борьбы съ Плеве!

Кончилось тѣмъ, что „Гражданинъ“, — „Гражданинъ“! — не сталъ титуловать его иначе, какъ:

— Нашимъ министромъ.

„Гражданинъ“, для котораго раньше слова „Витте“ и „конституція“ были, кажется, синонимами.

— Напишите „Витте“, и выйдетъ „конституція!“ — писалъ кн. Мещерскій, не желая, конечно, копировать А. И. Поприщина, который говорилъ:

— Напишите „Китай“, и выйдетъ „Испанія“.

Но копируя его невольно, какъ это съ нимъ случалось всегда.

„Издатель“ „Освобожденія“ превратился въ *enfant gâté* „Гражданина“!

Даже старичокъ кн. Мещерскій—много чего видѣвшій на свѣтѣ!—не выдержалъ, былъ увлеченъ и на старости лѣтъ прошелся нѣсколько туровъ.

Какая божественная способность увлекать въ танецъ кого угодно!

Когда графъ Витте становится „конституціоннымъ премьеръ-министромъ“, и г. Пихно, издатель „Кіевлянина“...

Тотъ самый г. Пихно, который, говорятъ, вошелъ въ ражъ и началъ палить по своимъ собственнымъ сотрудникамъ, рѣшивъ, что благонадежныхъ людей нѣтъ, весь этотъ свѣтъ неблагонадеженъ!

Когда этотъ издатель „Кіевскихъ Вѣдомостей“ принялся метать громы, графъ Витте,—цитирую снова по газетамъ,—послалъ ему телеграмму:

„Пріѣзжайте въ Петербургъ. Поговоримъ. Можетъ-быть, столкнемся“.

Приглашеніе къ танцамъ! Очаровательное, какъ веберовское.

Подумайте! Со стороны премьеръ-министра! Гдѣ? Въ Россіи!

Въ странѣ статьи 1039-ой. По меньшей мѣрѣ!

Было бы длинно перечислять всѣхъ пастушекъ, съ которыми перетанцовалъ нашъ богъ.

Многіе изъ нихъ такъ и умерли въ увѣренности:

— Со мной одной!

Счастливыя!

На нашихъ глазахъ... Протанцовавъ нѣсколько туровъ съ княземъ Оболенскимъ...

И какъ!

Одновременно съ княземъ Оболенскимъ и съ генераломъ Треповымъ.

Съ княземъ Оболенскимъ:

— Что либеральнѣе вамъ еще нужно?

И съ генераломъ Треповымъ:

— Онъ, право, не таковъ, какъ его рисуютъ. Наконецъ онъ необходимъ!

Протанцовавъ нѣсколько туровъ съ княземъ Оболенскимъ, графъ Витте отлично танцуетъ съ г. Дурново, и, говорятъ, будто бы скоро снова затанцуетъ съ такой же легкостью съ княземъ Оболенскимъ.

А можетъ-быть, съ генераломъ Треповымъ? Съ графомъ Игнатьевымъ? Съ г. Побѣдоносцевымъ или г. Петрункевичемъ?

Все можетъ быть!

При такой легкости на ногу...

Но кончимъ „синодикъ“!

Кончимъ на томъ, что пастушекъ было не меньше пятисотъ.

А можетъ-быть,—даже навѣрное! — индусскій богъ куда превзойденъ русскимъ графомъ.

— „Спѣшу оговориться!“ — какъ писали старинные литераторы.

У насъ еще по старой памяти, когда литераторъ пишетъ, публика первымъ дѣломъ любопытствуетъ:

— „Нападаетъ“ или „хвалить“?

Я не хочу хвалить, тѣмъ менѣе я хочу „нападать“ на графа Витте.

— „Для людей исключительныхъ и мораль нужна исключительная!“ — сказалъ Поль Бурже.

И я отлично знаю, что государственныхъ людей нельзя судить, какъ добрыхъ знакомыхъ.

Какъ простыхъ смертныхъ.

То, что для индускаго бога было „пятисотлічіемъ“, въ государственномъ человѣкѣ называется „оппортюнизмомъ“.

Что жъ!

Оппортюнизмъ — государственная система, какъ и всякая другая.

„Обвинять“ въ оппортюнизмѣ — въ этомъ нѣтъ ничего обиднаго.

Оппортюнистомъ былъ Леонъ Гамбетта. Excusez du peu!

Главой оппортюнизма. Родоначальникомъ оппортюнистовъ.

Оппортюнизму въ нашъ вѣкъ воздаются почти божескія почести.

Прошлымъ лѣтомъ открывали памятникъ Гамбеттѣ.

— Слово „оппортюнизмъ“ многими произносится, какъ обвиненіе. Но чѣмъ была спасена Франція послѣ 1870 года, какъ не оппортюнизмомъ? Кто ее спасъ? Оппортюнисты... Кто былъ вождемъ этихъ оппортюнистовъ? Онъ назывался Леономъ Гамбеттой, этотъ великій оппортюнистъ! Оппортюнизмъ—это мудрость!

Эти слова у подножія памятника „великому трибуну“ принадлежатъ республиканцу, главѣ республиканскаго правительства, представителю самой передовой страны Европы,—г. Эмилю Лубе.

И характерно, что пѣли и хвалили и славили въ Гамбеттѣ не „великаго трибуна“, не „великаго патріота“, не „великаго республиканца“, — а именно:

— Великаго оппортюниста!

И никому не было стыдно.

Ни за него ни за себя.

Таковъ ужъ, значить, вѣкъ.

Послѣ этого быть оппортюнистомъ ничуть не стыдно.

Не мѣшаетъ только при этомъ быть Гамбеттой.

И надо спасти отечество.

Но возвратимся къ нашему божественному балу.

„Послѣ всѣхъ радостей и несчастій, любви и ненависти приходитъ смерть. И дальше? Дальше? Ничего!“ — какъ говорить Яго.

Нашелся человѣкъ, — единственный, — который не захотѣлъ съ нимъ танцовать, — фонъ-Плеве.

Борьба.

И С. Ю. Витте похороненъ по первому разряду.

Предсѣдатель совѣта или комитета, — но который, все равно, никогда не собирается.

— И дальше?

— Дальше? Ничего!

Самъ г. Витте говорить, — наприимѣръ, 8-го января, наканунѣ 9-го, депутаціи изъ десяти литераторовъ:

— Я ничего не могу. Я ничего не значу.

Но г. Витте похороненъ еще живымъ.

Приходитъ Портсмуть.

Берутъ того, другого. Но кого же, въ концѣ-то концовъ?

Одинъ.

Витте.

Правильно или ошибаются, — но и въ Европѣ, и въ Америкѣ единственнымъ государственнымъ человѣкомъ въ Россіи считаютъ г. Витте.

И г. Витте ѣдетъ въ Портсмутъ съ единственнымъ оружіемъ противъ японцевъ.

— Ахъ, господа! Вы не знаете, что такое Россія! — говоритъ онъ всю дорогу.

Единственная фраза.

Онъ повторяетъ ее, — какъ рисуютъ корреспонденты, — „съ загадочной улыбкой, съ видомъ меланхолическимъ и даже не лишеннымъ грусти“.

— Вы не можете даже себѣ представить, что такое Россія! — повторяетъ онъ всякому встрѣчному.

И мало-по-малу, и Европа и Америка гипнотизируются загадочной фразой.

Приходятъ къ убѣжденію:

— А вѣдь, дѣйствительно, чортъ возьми, мы не знаемъ, что такое Россія!

Всему цивилизованному міру такъ чуждъ нашъ строй.

Всѣ видятъ, что война разоряетъ Россію.

Но...

— Что еще могутъ заставить ихъ сдѣлать? И есть ли, наконецъ, что-нибудь, чего не могутъ ихъ заставить сдѣлать?!

Двадцатому вѣку трудно понять:

— Что возможно и что невозможно въ шестнадцатомъ?

Европа и Америка рѣшаютъ:

— Если ужъ эти такъ упрямы, нажмемъ на тѣхъ, — тѣ, все-таки, ближе къ нашему вѣку, къ нашимъ понятіямъ и правамъ. Не разорятся же всему міру изъ-за ихъ войны!

И нажимаютъ.

Японія уступаетъ.

С. Ю. Витте одерживаетъ первую русскую побѣду надъ Японіей.

Портсмутскій договоръ, — печальный самъ по себѣ, — все же самый лучший, на который можно было надѣяться.

На который даже нельзя было надѣяться.

Въ „credit“ С. Ю. Витте онъ всегда останется колоссальной цифрой, сколько бы графъ Витте ни вписалъ еще себѣ въ „debit“.

Сравнительно, конечно, но, — увы! — портсмутскій договоръ — единственная блестящая страница въ этой исторіи, написанный съ кляксами человѣческой кровью, ненужной и бесполезной.

— Японцы заняли весь Сахалинъ. Витте отдалъ имъ только половину. Среди всѣхъ русскихъ генераловъ, штатскій Витте одинъ отнялъ у японцевъ назадъ взятую позицію, — справедливо писалъ одинъ французскій журналистъ.

Дорога отъ Портсмута до Петербурга — сплошной триумфъ.

„Первый и единственный побѣдитель!“

Всѣ понимаютъ, всѣ знаютъ, что „воскресшій изъ мертвыхъ“ человѣкъ не ляжетъ обратно.

Ни для кого не секретъ, объ этомъ говорить вся заграничная печать:

— Витте предстоитъ сыграть огромную, историческую роль. Его ждетъ исключительный постъ.

Г. Витте долженъ дѣлать крюкъ.

Онъ долженъ заѣхать по дорогѣ въ Парижъ. Онъ долженъ остановиться въ Берлинѣ.

Чтобъ съ королевскими почестями проѣхать въ Потсдамъ.

Его желаетъ видѣть Лубе, съ нимъ желаетъ бесѣдовать императоръ Вильгельмъ II.

Одинъ ли Вильгельмъ II.

Его величество Ротшильдъ, ихъ величества Мендельсоны и прочіе „князья міра сего“ желаютъ побесѣдовать съ г. Витте „теперь“.

То, что должно совершиться, не тайна ни за границей ни въ Россіи.

„Московскія Вѣдомости“ уже начинаютъ кампанію противъ будущаго „конституціоннаго премьеръ-министра“.

Черни, которая можетъ получать эту газету „со значительной скидкой, на самыхъ льготныхъ условіяхъ“, внушается.

Печатаются вещи, невиданныя на сѣрыхъ, какъ сукно арестанскихъ халатовъ, страницахъ русской печати.

Про представителя Россіи, про посланника страны печатають:

— Измѣнникъ... Что ему честь Россіи?.. Готовъ погубить родину...

Это уже подготовленіе къ Вареоломеевской ночи.

Это г. Грингмутъ въ роли Сенъ-Бри, — красная рубаха каторжнаго площадного ката ему больше къ лицу, — благословляетъ дубины черныхъ сотенъ.

„У Руси есть враги

Съ Витте во главѣ!“—

запѣваетъ онъ на мотивъ изъ „Гугенотовъ“.

На что хоръ черныхъ сотенъ гдѣ-то, — чуть ли все не въ томъ же Кишиневѣ, — самый, оказывается „патріотическій“ городъ, хоть и цыганскій! — на что потомъ хоръ черныхъ сотенъ долженъ отозваться дикимъ аккордомъ:

— Витте измѣнникъ! Казнь ему!

Что дѣлаетъ въ это время г. Витте?

Изъ ума г. Витте, конечно, можно выкроить сотню умовъ, и каждый изъ нихъ будетъ считаться у насъ „государственнымъ“. И какимъ!

Г. Витте понимаетъ, что:

— Времена мѣняются.

И мы должны слѣдовать за ними.

Если хотимъ избѣжать столкновенія и катастрофы.

Въ октябрѣ 1904 года министръ внутреннихъ дѣлъ объявилъ „довѣріе“ къ странѣ.

Вещь, неслыханная нигдѣ, кромѣ Россіи.

Во всемъ остальномъ мірѣ страна выражаетъ свое довѣріе или недовѣріе министрамъ.

— Министръ, который ваялъ бы, да и заподозрѣлъ всю страну!

Во всей Европѣ, Америкѣ, Австраліи и даже въ Азіи — въ Японіи всѣ померли бы отъ смѣха при такомъ „трюкѣ“.

Иначе этого назвать нельзя.

Такого юмористическаго положенія не приходило въ голову ни Твэну ни Джерому!

А у насъ вся страна чуть съ ума не сошла отъ радости:

— Министръ намъ выразилъ довѣріе.

Въ октябрѣ 1905 года, ровно черезъ годъ, уже правительство должно просить довѣрія у страны.

Этого нельзя было не предвидѣть.

И г. Витте...

Чѣмъ онъ занятъ на своемъ долгомъ пути, съ заѣздами, съ остановками, изъ Портсмута въ Петербургъ?

Онъ интервьюируется.

Корреспондентъ у него, — нѣтъ желаніе гостя!

Я цитирую иностранныя газеты.

— Какъ вы нашли Рузвельта?

— О, въ восторгѣ. Главное, что мнѣ въ немъ нравится, — это, прежде всего, удивительно искренній человѣкъ!

Въ Парижѣ:

— Ваше мнѣніе о Лубе, excellence?

— Лубе? Да это сама искренность! Я люблю Лубе. Люблю, потому что искренность меня всегда чарует!

— А какъ вы находите Рувье?

— Рувье тоже очень искренній человѣкъ. Вотъ настоящій искренній человѣкъ. Сознаюсь вамъ, — искренность — это моя слабость.

Въ наши „лукавыя времена“, какъ ихъ зовутъ даже отцы церкви, такая любовь къ искренности — большая рѣдкость.

Которую пріятно отмѣтить.

Г. Витте въ государственномъ человѣкѣ выше всего ставить искренность.

Похвальнѣй что же можетъ быть?!

Но не слышится ли вамъ, прекрасныя пастушки, ригурнеля, приглашенія къ танцамъ?

Ah, du, mein lieber Augustin,
Augustin, Augustin!

Человѣкъ, который черезъ нѣсколько дней долженъ будетъ просить довѣрія у всего міра:

— Наше желаніе — осуществить реформы искренно! Готовить почву.

„Предупреждаетъ“ весь міръ, что онъ большой любитель искренности.

— „Разумѣйте, языцы“. То-то же.

И когда начинается танецъ, всѣ дамы танцуютъ съ графомъ Витте.

Франція, Германія, Англія, Австрія и т. д., и т. д. Всѣ.

За исключеніемъ одной.

Россія.

Съ человѣкомъ, который танцоваль со всѣми, не хочетъ танцовать никто.

Первый же русскій „кабинетъ“ никакъ не можетъ составиться.

Графъ Витте, окруженный портфелями!

Онъ и „кабинетъ“, онъ и „всѣ министры“.

Новый Потокъ-богатырь!

Онъ танцуетъ одинъ среди зала.

Одинъ въ пустотѣ.

А по стѣнкамъ сидитъ масса людей и только смотритъ на странный танецъ, прочно поджавъ подъ себя ноги.

— Нѣтъ-съ! Танцевать мы съ вами не пойдемъ!

Графъ Витте ищетъ „партіи“.

И не находитъ.

И плачется иностраннымъ корреспондентамъ:

— Я одинъ! Совсѣмъ одинъ! Во всей Россіи нѣтъ благоразумнаго человѣка, чтобъ со мной потанцевать!

Эпидемія „неблагоразумія“ охватила страну!

И чѣмъ дальше, тѣмъ хуже.

Человѣкъ, котораго всѣ считали своимъ, всѣ считаютъ чужимъ.

Реакціонеры его обвиняютъ въ революціонерствѣ.

Революціонеры въ реакціи.

— Онъ отецъ конституціи.

— Онъ отнимаетъ у насъ конституцію!

— Онъ задушилъ революцію!

— Онъ развязалъ руки революціи!

Чудо бога Вишну удалось только наполовину.

Пастушки перешепнулись:

— Какъ я счастлива! Кришна выбралъ меня и танцевалъ только со мною!

— Ну, ужъ это вы, милая, оставьте! Себѣ-то я больше вѣрю! Кришна танцевалъ не съ кѣмъ съ другимъ, а со мной!

— Вы ошибаетесь! Со мной!

— Со мной!

— Со мной!

И ихъ, такихъ, пятьсотъ!

Пастушки расхохотались или заплакали.

Но очарованіе исчезло.

Все было такъ рассчитано, и все-таки не удалось!

Поистинѣ, жаль геніальнаго плана и ужъ очень простыхъ ариметическихъ вычисленій и потерянныхъ интервью.

Были люди искренніе, вѣрящіе, которые, „тѣмъ не менѣ“, убѣждали насъ всѣхъ танцовать.

— Ничего не значитъ! Танцуйте! Вы должны танцовать!

— Почему?

И вотъ единственный аргументъ.

— Но вѣдь Цезарь... виновать, Витте честолюбивъ. Поймите же вы, — онъ играетъ передъ исторіей. Обновитель Россіи! Не захочетъ же онъ ни отказаться отъ такой роли ни провалить ее. Окажите кредитъ его честолюбію.

Честолюбивъ.

Большая красота въ государственномъ человѣкѣ. Большая.

Ужасно красить его въ глазахъ потомства.

Будутъ любоваться имъ.

Но потомки...

Честолюбивый государственный человѣкъ, по-мому, тигру подобенъ.

Любоваться имъ нужно издали, — изъ-за рѣшетки, да и то на разстояніи.

А лицомъ къ лицу...

Потомкамъ хорошо. Они на разстояніи.

А мы современники. Намъ пріятенъ былъ бы какой-нибудь аргументъ.

Честолюбіе!

Страшусь я, когда честолюбіе является главнымъ аргументомъ.

Быль такой честолюбивый человѣкъ.

Наполеонъ Бонапартъ.

12-го вѣндэміера, вечеромъ, Наполеонъ Бонапартъ выходилъ изъ театра Фейдо.

Улицы Парижа въ этотъ вечеръ были въ волненіи. Готовилось возстаніе.

Народъ „строилъ свои батальоны“, чтобъ итти въ Тюльери, противъ Барраса и членовъ конвента.

— А! — воскликнулъ Наполеонъ Бонапартъ, обращаясь къ Жюно, — если бъ эта толпа поставила меня во главѣ! Я отвѣчаю, я даю слово, — черезъ два часа привести ихъ въ Тюльери и выгнать оттуда весь этотъ злосчастный конвентъ!

Черезъ пять часовъ онъ былъ приглашенъ Баррасомъ и членами конвента.

Ему сдѣлали предложеніе.

Наполеонъ Бонапартъ потребовалъ трехъ минутъ на размышленіе.

Рѣшилъ.

И вмѣсто того, чтобы „выгнать Барраса и конвентъ“, разстрѣлялъ толпу *).

Правда, потомъ онъ всю жизнь раскаивался.

— Онъ всегда оплакивалъ этотъ день, — говорить въ своихъ воспоминаніяхъ Буррьенъ, — онъ часто говорилъ мнѣ, что отдалъ бы нѣсколько лѣтъ жизни, чтобы вычеркнуть эту страницу изъ своей исторіи.

Но ни одинъ изъ разстрѣлянныхъ отъ этого не воскресъ.

Что такое графъ С. Ю Витте?

— Можетъ Витте возстановить старый строй?

— Нѣтъ?

*) Taine „Napoléon Bonaparte“.

— Можетъ Витте ввести строй конституціонный?
Опытъ трехъ мѣсяцевъ отвѣчаетъ:

— Не въ силахъ!

— Можетъ Витте подавить революцію?

Пародируя слова Наполеона:

— Три мѣсяца смотрятъ на насъ съ вершины этихъ пирамидъ человѣческихъ тѣлъ.

И говорятъ намъ.

— Нѣтъ.

Какъ пламя, охватившее нутро овина. Его пригасятъ здѣсь, — оно вырвется тамъ. Его притупятъ тамъ, — оно вырвется тутъ.

Ногамъ горячо.

Подъ ногами все горитъ.

— Позвольте! Человѣкъ, который не можетъ сдѣлать ничего! Значить, онъ ни на что не способенъ?

Подождите!

— Специалистъ, — сказалъ Козьма Прутковъ, — флюсу подобенъ: онъ одностороненъ.

Графъ С. Ю. Витте есть, будетъ и всегда останется тѣмъ, чѣмъ онъ былъ:

— Министромъ финансовъ.

Сдѣлайте его хоть папой, — онъ останется министромъ финансовъ.

Графъ Витте сдѣланъ премьеръ-министромъ.

Послушаемъ его слова.

Его собственныя слова.

— Государственная Дума? — жалуется онъ пріѣхавшей къ нему депутаціи изъ Москвы *). — Почему я сажусь въ этотъ утлый челнъ? Безъ надежды, конечно, что онъ можетъ перевезти черезъ бушующій океанъ. Только потому, что больше не на что сѣсть.

Возьмемъ самую спокойную страну, — Англію.

*) Въ ноябрѣ.

Сколько минут продержался бы премьеръ-министръ, высказавшій такія отрадныя и утѣшительныя мысли о будущемъ родины?

Каждый паръ, каждый депутатъ всталъ бы и сказалъ:

— Позвольте, г. министр! Если корабль въ такомъ отчаянномъ положеніи, и вы не знаете, какъ его вести, вамъ остается только уступить свое мѣсто другимъ. Можетъ-быть, найдутся люди знающіе и умѣлые. Вы можете садиться въ челнъ—или спасаться вплавь,—это какъ вамъ будетъ угодно. Но вѣдь не погибать же намъ всѣмъ только потому, что вы не знаете, какъ управлять въ бурю!

Графъ Витте неоднократно заявлялъ, что политика г. Дурново, министра внутреннихъ дѣлъ, идетъ вразрѣзъ съ его политикой.

Какая снова расписка въ безпомощности!

По тѣмъ, другимъ, третьимъ условіямъ...

Условія намъ не интересны. Рѣчь идетъ о нашей жизни. О жизни родины. Намъ нужны результаты.

Условія не подходятъ, — надо отказаться.

По тѣмъ, по другимъ, по третьимъ условіямъ, — но фактъ тотъ, что графъ Витте не можетъ сдѣлать того, что прежде всего долженъ сдѣлать премьеръ-министръ:

— Составить то, что называется „однороднымъ“ министерствомъ.

Министерство, гдѣ всѣ министры держались бы одной политики, представителемъ которой является премьеръ-министръ.

При существованіи премьеръ-министра мы видимъ то же, что происходило, когда мы не имѣли премьеръ-министра.

Что привело насъ къ краху.

У всякаго министра собственная политика.

Министръ внутреннихъ дѣлъ, — говорятъ намъ, — проводить собственную политику.

Министръ юстиціи, у котораго тоже своя политика, расходится съ министромъ внутреннихъ дѣлъ.

Вопросъ самый существенный, вопросъ жизни и смерти, земельный вопросъ, который нужно разрѣшить какою бы то ни было цѣною до марта, проваливается въ январѣ въ совѣтъ изъ-за разногласія гг. министровъ.

Такъ возъ вѣчно останется „и нынѣ тамъ“.

И „кабинетъ“, который расходится во взглядахъ, продолжаетъ существовать.

И безпомощный премьеръ-министръ продолжаетъ оставаться во главѣ министерства, гдѣ у всякаго своя политика.

„Премьеръ-министръ“, когда „кабинета“ не существуетъ!

Это звучитъ уже какъ:

— Адмиралъ швейцарскаго флота.

Какая безпомощность въ самомъ началѣ.

Изъ Петербурга провозглашается „дѣйствительная неприкосновенность личности“, — и это сопровождается массовыми избіеніями въ Одессѣ, Симферополѣ, Теодосіи, Кіевѣ, Харьковѣ, Твери.

Отъ Томска до Кишинева.

Въ 130 городахъ.

Каждый губернаторъ, каждый полицмейстеръ имѣютъ собственную политику.

Тамъ разрѣшаютъ милицію, здѣсь учрежденіе милиціи считаютъ мятежомъ.

И снова ничего, кромѣ жалобъ.

Новыя расписки въ безпомощности:

— Что жъ дѣлать, если нѣкоторые... по своему усмотрѣнію... самовольно...

Въ доказательство этого нѣкоторые отзываются, смѣщаются.

Что жъ это за новый Куропаткинъ, у котораго каждый генералъ ведетъ свой собственный бой и чуть ли не свою собственную войну?

Какая безпомощность все время.

Вопросъ простъ.

Какая задача была поставлена графу Витте.

— Осуществить свободы, объявленныя манифестомъ 17-го октября.

Прошло три мѣсяца.

Что сдѣлано?

Гдѣ Государственная Дума?

Въ чемъ состоитъ свобода слова, если каждую недѣлю прикрывается столько изданій, сколько ихъ не прикрывалось въ годъ ни при Сипягинѣ ни при фонъ-Плеве!

Гдѣ свобода союзовъ? Гдѣ свобода собраній?

О неприкосновенности личности говорить въ странѣ, въ столицѣ которой запрещается выходить на улицу послѣ 12-ти часовъ ночи, и гдѣ въ Севастополѣ высылаютъ людей „за знакомство съ Купринымъ“, — я нахожу неприличнымъ.

Это значило бы издѣваться надъ бѣдною родиной.

Никогда еще жизнь русскаго человѣка не была такъ дешева, какъ она стала съ 18-го октября 1905 года.

— Но тысячи причинъ, условій!

Никакихъ условій!

Результатовъ! Результатовъ!

Рѣчь идетъ о жизни страны.

Какія причины, какія условія тутъ могутъ приводиться, какъ извиненія?

Человѣкъ подѣ chloroформомъ. Человѣкъ лежитъ на операціонномъ столѣ. Ему дѣлаютъ операцію, отъ которой зависитъ его жизнь и смерть.

Жизнь и смерть его висятъ на волосѣ.

Какое это время, какое это мѣсто для того, чтобъ:

— Извиняться?

Какія извиненія?

— Волненія... тревожное время...

Человѣкъ не можетъ справиться съ волненіями *).

Человѣкъ не можетъ справиться съ составленіемъ кабинета. Человѣкъ не можетъ справиться со своими подчиненными.

Что же и требуется доказать?

Это ужъ начинаетъ напоминать анекдотъ.

— Почему вы не стрѣляли? — спросилъ Наполеонъ у одного изъ своихъ генераловъ.

— На это было одиннадцать причинъ, ваше величество!

— Первая?

— Пороху не было.

— Довольно. Остальные не интересны.

Но, милостивые государи...

Страна, какъ огромной тучей, была накрыта и закрыта отъ остального міра.

Желѣзныя дороги не дѣйствовали. Почта — тоже. Телеграфъ — тоже.

Что тамъ происходило за тучей?

Неизвѣстно.

Виднѣлось только, что туча вспыхиваетъ кровавымъ свѣтомъ.

Молніи.

И вы могли итти въ любую банкирскую контору во Франціи и мѣнять ваши сто рублей.

Вамъ давали 263 франка.

* Видъ не однимъ же оружіемъ успокоиваются, а тѣмъ болѣе — предупреждаются волненія.

Вмѣсто 265, которые даютъ, когда погода — яснѣе не бываетъ.

Вспомните время русско-турецкой войны.

Какіе скачки — внизъ, черезъ десять ступеней! — дѣлалъ этотъ бѣдняга русскій рубль:

— Первая Плевна... Шипка... Вторая Плевна...

Что было бы съ нимъ теперь, при этихъ:

— Севастополь!.. Москва!.. Тифлисъ!.. Владивостокъ!

Не какія-то тамъ Плевны!

Биржа! Такая чувствительная дама!

Способная упасть въ обморокъ — и въ какой обморокъ! — отъ извѣстія о катастрофѣ на Мартиникѣ.

Что ей Мартиника?

Подумайте, что сдѣлалось бы съ нею въ 1878 году, если бъ она прочла въ газетахъ:

— На Тверской разстрѣляли домъ Коровина!

На Тверской?

Какъ пишетъ старичокъ г. Земскій въ своихъ объявленіяхъ:

— На „извѣстнѣйшей“ Тверской улицѣ.

Да еще не домъ какого-нибудь Гиршмана. А Коровина.

Ко-ро-ви-на!

И биржа упустила бы случай полетѣть, по крайней мѣрѣ, на 40 копеекъ?

А тутъ...

Надо было, чтобъ вся Прѣсня превратилась въ развалины, чтобы рубль понизился еще на 3 сантима.

На одну и сто двадцать пять тысячныхъ копеек!

За Прѣсню даже обидно.

— Это сдѣлала золотая валюта.

А кто сдѣлалъ золотую валюту?

Все время этой ужасной и печальной для изстрадавшейся родины междоусобной борьбы, когда рѣками

текла братская кровь, — графъ Витте оставался тѣмъ, чѣмъ былъ просто С. Ю. Витте:

— Министромъ финансовъ.

Я не знаю, находить ли онъ досугъ писать свои мемуары. Врядъ ли. Но если да, — глава, какъ ухитрились удержать въ это время русскія бумаги отъ окончательнаго паденія на иностранныхъ биржахъ, — будетъ самой интересной главой его жизни.

Какія усилія были для этого сдѣланы, — пока неизвѣстно.

Но глава будетъ рассказывать настоящее чудо.

Обстоятельство, которое заставляло всѣхъ русскихъ, бывшихъ въ это время за границей, отъ всей души говорить:

— Спасибо графу Витте!

Жаль, что этого не могли сказать тѣ русскіе, которые оставались въ это время въ Россіи.

— Но Витте не былъ въ это время министромъ финансовъ!

Но за границей знаютъ Витте.

— Разъ Витте во главѣ министерства, онъ всегда и во всѣхъ обстоятельствахъ останется министромъ финансовъ.

„Кабинета“, можетъ-быть, и не будетъ. Но министръ финансовъ будетъ всегда. И этимъ истиннымъ министромъ финансовъ будетъ Витте.

Вы могли спросить любого банкира:

— Что это русскія бумаги не летятъ окончательно? Чего дожидаются?

Вы слышали одинъ и тотъ же отвѣтъ:

— Мы вѣримъ въ Витте. Пока Витте...

И г. Рувье, который самъ Витте...

Т.-е. министръ финансовъ, прежде всего.

Г. Рувье, не будь во главѣ русскихъ правителей Витте, не поднялся бы на трибуну для того, чтобы

„успокоить финансовый міръ“ и срокомъ на три года поставить бланкъ французскаго правительства на русскихъ обязательствахъ.

— Не безпокойтесь. Я знаю. Интересы по займамъ на три года обезпечены.

Это Рувье, глава французскаго правительства, ставилъ бланкъ на обязательствахъ графа Витте.

Трогательная, если хотите, картина.

Касторъ и Поллуксъ.

Два великихъ министра финансовъ, подающіе другъ другу руку.

И на какомъ разстояніи!

Рыбакъ рыбака видитъ издалека.

Никто, кромѣ Витте, не смогъ бы въ эту бурю держать голову поверхъ воды на иностранной биржѣ.

И никому, кромѣ Витте, Рувье не кинулъ бы спасательнаго круга.

Слово Рувье для капиталиста все.

Отъ слова Рувье „бумага“ въ карманѣ расправляется и перестаетъ корчиться, какъ береста на огнѣ.

Одинъ изъ величайшихъ авторитетовъ въ наживныхъ дѣлахъ.

Какъ министръ финансовъ, С. Ю. Витте былъ геніаленъ.

Въ финансахъ Архимедъ.

— Дайте мнѣ точку опоры, и мы задолжаемъ цѣлому свѣту!

Я смѣло ставлю слово:

— Геніаленъ.

Доказательствъ?

При С. Ю. Витте мы взяли у Франціи 12 милліардовъ франковъ.

А за пятью милліардами франковъ начинается геніальность.

Бисмаркъ взялъ 5 милліардовъ контрибуціи.

А Бисмаркъ былъ геніаленъ.

С. Ю. Витте взялъ ихъ двѣнадцатъ.

Итого, по самому ариѳметическому расчету, онъ почти въ два съ половиной раза геніальнѣе Бисмарка.

Сравните при этомъ ихъ „точки опоры“.

У Бисмарка:

— Мы побѣдили!

Истинно желѣзная точка опоры, какъ и полагается „желѣзаному“ канцлеру.

Что было у С. Ю. Витте?

— Мы, можетъ-быть, когда-нибудь сможемъ быть въ чемъ-нибудь вамъ полезными.

Это какія-то взбитыя сливки, а не точка опоры.

И 12 миллиардовъ.

Не геніально?

Быть-можетъ, онъ еще геніальнѣе, какъ бухгалтеръ.

Но гдѣ кончается бухгалтеръ и начинается министръ финансовъ?

Возвращаясь къ тѣмъ же отчетамъ, ежегодно сопровождавшимъ государственную роспись.

Эти блестяще написанные отчеты въ теченіе десяти лѣтъ изъ года въ годъ были всегда какъ нельзя болѣе утѣшительны.

То они открывали пріятно удивленнымъ глазамъ существованіе „свободной наличности“.

Чудесной арниковой примочки, которой можно примочить всякій бюджетный ушибъ.

Примочилъ, — и прошло.

То, за отсутствіемъ свободной наличности, отчетъ радостно пускался въ статистику.

— Зато благосостояніе мужика поднялось! Куда! По статистикѣ, вмѣсто одного куска сахару въ годъ употребляетъ три!

Немного напоминало анекдотъ про одного издателя:

— Какъ подписка въ этомъ году?

— Втрое лучше, чѣмъ въ прошломъ.

— Да что вы?

— Фактъ! Въ прошломъ году былъ одинъ подписчикъ на газету, — а въ этомъ три.

Но, все-таки, было утѣшительно.

Сравнительно!

Только послѣдній отчетъ немножко, какъ это говорится, сплоховалъ.

Кончался словами:

— Однако, можно надѣяться, что съ Божьей помощью...

Это ужъ плохо, когда министръ финансовъ начинаетъ Богу молиться.

Но всякій отчетъ неизмѣнно сопровождался любезнымъ слуху однимъ и тѣмъ же рефреномъ:

— Такъ и этотъ годъ мы закончили безъ дефицита.

Мы къ этому привыкли.

Перваго января себя спрашивали:

— Безъ дефицита?

И, увидѣвъ любезную фразу на своемъ мѣстѣ, себя поздравляли:

— Безо всякаго!

И вотъ...

Десять лѣтъ жили безъ дефицита и сдѣлали 12 миллиардовъ долгу.

Ахъ, бухгалтерія!

Мнѣ всегда вспоминается знаменитый г. Езерскій въ одномъ изъ банковскихъ процессовъ.

Онъ былъ экспертомъ.

— Да что же, наконецъ, такое бухгалтерія?! — въ отчаяніи возопилъ прокуроръ. — Наука это или искусство?

„Дѣдушка русской бухгалтеріи“ подумалъ съ минутой и отвѣтилъ:

— Искусство.

Но бухгалтерія — искусство сегодняшняго дня.

Эфемерида.

Живеть мгновеніе.

Сегодня вы успокоили тонко составленнымъ бухгалтерскимъ отчетомъ.

Завтра дѣйствительность, какъ камень, свалившійся откуда-то съ неба, разорветъ самое искусное бухгалтерское кружево.

Десять лѣтъ вы пишете отчеты, а на одиннадцатый:

— Двѣнадцать милліардовъ.

(Какой фатальный порядокъ въ цифрахъ).

Но С. Ю. Витте былъ не только министромъ финансовъ сегодняшняго, — онъ былъ настоящимъ министромъ финансовъ и завтрашняго дня.

Судя по его дѣятельности, онъ мало обращалъ вниманія на людей.

Судя по его дѣятельности, онъ рассуждалъ такъ:

— Люди умирають или лопаются...

Для министра финансовъ это одно и то же.

Люди исчезаютъ, предпріятія остаются.

Мамонтовы разоряются, Алчевскіе умирають, — но фабрики, но заводы, но желѣзныя дороги остаются, мѣняютъ хозяевъ и работаютъ въ странѣ и на страну.

Участь людей, повидимому, мало интересовала С. Ю. Витте.

Онъ смотрѣлъ черезъ ихъ головы, вдаль.

Онъ былъ созидателемъ.

— Предпріятій! Предпріятій! Онъ помогалъ ихъ увлеченіямъ.

— Стройте! Создавайте!

Онъ грозилъ.

Грозилъ частнымъ желѣзнымъ дорогамъ:

— Выкуплю! Стройте такія-то вѣтви! Создавайте!

А то выкуплю!

Люди, общества гибли.

А онъ создавалъ, создавалъ, лихорадочно создавалъ.

Летѣли перья, часто окровавленные, голубей, коршуновъ, ястребовъ.

А онъ, какъ орелъ, ширялъ въ синевѣ неба, и не было преградъ его полету.

Въ какой-то творческой горячкѣ онъ создавалъ все. Заводъ, продуктъ, даже покупателя продукту!

Не создавалъ, а ужъ истинно творилъ.

Изъ ничего.

Нѣтъ покупателя?

Крестьянинъ обнищалъ, желѣзнаго гвоздя купить не въ состояніи.

Вотъ вамъ покупатель:

— Казна!

Рельсы на казну дѣлайте.

Желѣзные дороги строить будемъ, чтобы только покупателя вамъ создать.

Этого Витте я люблю, какъ немножко въ душѣ поэтъ. Мнѣ нравится его размахъ, и сила легкихъ, съ которой, словно грандіозный мыльный пузырь, росла и принимала гигантскіе размѣры и надувалась русская индустрія.

И, словно мыльный пузырь, играла всѣми цвѣтами радуги.

И лопалась, и снова надувалась, и снова лопалась и вновь надувалась.

Здѣсь С. Ю. Витте былъ властолюбивъ, честолюбивъ и завоеватель.

Фараоновъ сонъ совершался наяву.

Министерство Финансовъ, — тощее въ Россіи министерство, — поѣдало другія, тучныя.

Министерство Внутреннихъ дѣлъ, — при фонъ-Плеве, — должно было вступить въ смертный бой, чтобы его не

сѣло, не сѣло его власти и первенствующаго значенія Министерство Финансовъ.

Министерство Путей Сообщенія, казалось, совсѣмъ перестало существовать. Всѣ его вопросы рѣшались въ Министерствѣ Финансовъ.

Министерство Земледѣлія устранили даже въ ту минуту, когда нужно было рѣшать вопросъ:

— Какъ поднять земледѣліе?

— Наши плательщики! — заявили въ Министерствѣ Финансовъ. — Мы ихъ участью и займемся.

Бѣдное Министерство Просвѣщенія, — ужъ и такъ тощее! — въ одинъ прекрасный день проснулось съ отъѣденнымъ бокомъ.

— Профессіональныя школы — наше дѣло.

Какая гимназія не станетъ „профессіональной школой“, если при ней открыть курсы выпиливанія по орѣховому дереву?

Продолжай дѣла итти тѣмъ ходомъ, какимъ они шли, и не встрѣтся на пути желѣзной преграды, — фонъ - Плеве, — Министерство Финансовъ забрало бы подъ себя все, и все просто, естественно кончилось бы тѣмъ же, къ чему пришло сейчасъ.

Министръ Финансовъ С. Ю. Витте неизбежно сдѣлался бы премьеръ-министромъ.

Но только настоящимъ.

Главою однороднаго министерства, которое писало бы свои бумаги подъ его диктантъ.

Среди всѣхъ завоеваній, которыя успѣлъ сдѣлать С. Ю. Витте, когда онъ былъ на своемъ мѣстѣ и въ своей роли, — самое трудное было, конечно, завоеваніе самой осмысленной и живой силы въ странѣ:

— Общества, интеллигенціи.

Вы помните ахи и охи, и стоны, и вопли, что интеллигенція бѣжала на службу къ Министерству Финансовъ.

Люди, общества гибли.

А онъ создавалъ, создавалъ, лихорадочно создавалъ.

Летѣли перья, часто окровавленные, голубей, коршуновъ, ястребовъ.

А онъ, какъ орелъ, ширялъ въ синевѣ неба, и не было преградъ его полету.

Въ какой-то творческой горячкѣ онъ создавалъ все.

Заводъ, продуктъ, даже покупателя продукту!

Не создавалъ, а ужъ истинно творилъ.

Изъ ничего.

Нѣтъ покупателя?

Крестьянинъ обнищалъ, желѣзнаго гвоздя купить не въ состояніи.

Вотъ вамъ покупатель:

— Казна!

Рельсы на казну дѣлайте.

Желѣзныя дороги строить будемъ, чтобы только покупателя вамъ создать.

Этого Витте я люблю, какъ немножко въ душѣ поэтъ. Мнѣ нравится его размахъ, и сила легкихъ, съ которой, словно грандіозный мыльный пузырь, росла и принимала гигантскіе размѣры и надувалась русская индустрія.

И, словно мыльный пузырь, играла всѣми цвѣтами радуги.

И лопалась, и снова надувалась, и снова лопалась и вновь надувалась.

Здѣсь С. Ю. Витте былъ властолюбивъ, честолюбивъ и завоеватель.

Фараоновъ сонъ совершался наяву.

Министерство Финансовъ, — тощее въ Россіи министерство, — поѣдало другія, тучныя.

Министерство Внутреннихъ дѣлъ, — при фонъ-Плеве, — должно было вступить въ смертный бой, чтобы его не

сѣло, не сѣло его власти и первенствующаго значенія Министерство Финансовъ.

Министерство Путей Сообщенія, казалось, совсѣмъ перестало существовать. Всѣ его вопросы рѣшались въ Министерствѣ Финансовъ.

Министерство Земледѣлія устранили даже въ ту минуту, когда нужно было рѣшать вопросъ:

— Какъ поднять земледѣліе?

— Наши плательщики! — заявили въ Министерствѣ Финансовъ. — Мы ихъ участью и займемся.

Бѣдное Министерство Просвѣщенія, — ужъ и такъ тощее! — въ одинъ прекрасный день проснулось съ отъѣденнымъ бокомъ.

— Профессіональныя школы — наше дѣло.

Какая гимназія не станетъ „профессіональной школой“, если при ней открыть курсы выпиливанія по орѣховому дереву?

Продолжай дѣла итти тѣмъ ходомъ, какимъ они шли, и не встрѣться на пути желѣзной преграды, — фонъ-Плеве, — Министерство Финансовъ забрало бы подъ себя все, и все просто, естественно кончилось бы тѣмъ же, къ чему пришло сейчасъ.

Министръ Финансовъ С. Ю. Витте неизбежно сдѣлался бы премьеръ-министромъ.

Но только настоящимъ.

Главою однороднаго министерства, которое писало бы свои бумаги подъ его диктантъ.

Среди всѣхъ завоеваній, которыя успѣлъ сдѣлать С. Ю. Витте, когда онъ былъ на своемъ мѣстѣ и въ своей роли, — самое трудное было, конечно, завоеваніе самой осмысленной и живой силы въ странѣ:

— Общества, интеллигенціи.

Вы помните ахи и охи, и стоны, и вопли, что интеллигенція бѣжала на службу къ Министерству Финансовъ.

Адвокаты, судьи, доктора кидаютъ свое дѣло.

— Учителя въ акцизъ!

Эти причитанья:

— Жалованья соблазнили!

Заключеніе обидное. Но мало продуманное.

Не одно жалованье играло тутъ роль.

Мнѣ пришлось тогда бесѣдовать съ однимъ учителемъ, пошедшимъ въ акцизъ.

— Изъ учителей въ монополію. Согласитесь,— звучить странно...

— Конечно! Конечно! Сохранить крестьянину половину здоровья. Спасти его отъ сивухи, настоящей кабатчикомъ на табачныхъ листьяхъ „для крѣпости“,— отъ этого ужаснаго пойла, которымъ отравляется страна. Спасти его отъ этого отравленія сивушнымъ масломъ, которое отнимаетъ у него, по меньшей мѣрѣ, полсотни рабочихъ дней въ годъ, лишая его возможности работать и на другой день, „съ похмелья“. Спасти его отъ яда, который фатально дѣлаетъ изъ него затажного пьяницу. Пили вы когда-нибудь водку, которую пьютъ у насъ въ деревнѣ? Если да, вы поймете, что значитъ освободить человѣка отъ этого яда. Уничтожить въ деревнѣ „институтъ“, который ее губить, разоряетъ, развращаетъ, который ее доводитъ до какого-то скотскаго состоянія — кабакъ. Избавить деревню, мірской сходъ, крестьянское хозяйство, общественныя дѣла отъ самаго мерзкаго вліянія, избавить деревню отъ ея язвы, позора, несчастія, — отъ кабатчика. Конечно, все это ничтожное дѣло! Ничтожное, въ сравненіи съ народнымъ учительствомъ, гдѣ я, все равно, ничего не могу сдѣлать, потому что мнѣ ничего не даютъ дѣлать. Тамъ красивое имя и невольное бездѣйствіе, отъ котораго слезами давишься, — адѣсь некрасивая кличка „акцизникъ“, но живое

дѣло. Дѣло оздоровленія деревни. Раскрѣпощеніе пахаря отъ кабака.

Во всѣхъ вѣдомствахъ нужны были чиновники.

Вездѣ писали.

И только одно,—Министерство Финансовъ, могучее, широкое, вершившее колоссальныя экономическія реформы, захватывавшее одну за другой различныя отрасли народной жизни и обѣщавшее захватить ихъ всѣ,— только одно Министерство Финансовъ звало широкіе круги общества.

И звало не писать, а:

— Дѣлать дѣло. Устраивать судьбы и строить будущее.

Это было вольное министерство.

Вольное не только по обращенію съ цифрами.

Запорожская Сѣчь среди регулярныхъ министерствъ.

Гдѣ спрашивали только одно:

— Умѣешь дѣлать дѣло?

„Какая смѣсь одеждъ и лицъ“...

Бывшій политическій ссыльный, вчерашній адвокатъ, инженеръ, учитель, — все работало плечо о плечо.

„Единственное министерство, свободное отъ „настоящихъ чиновниковъ“.

Что удивительнаго, что русское общество, русская интеллигенція хлынула туда, гдѣ можно было вліять на жизнь страны.

Русское общество схватилось за работу „по Министерству Финансовъ“ какъ за единственную для „частныхъ людей“ возможность работать, направлять и править.

Вотъ источникъ этого бѣгства „къ Витте“, а не одно жалованье.

Поработавъ съ интеллигенціей, Витте, быть-можетъ, — навѣрное даже, — надѣялся, что и снова...

Но премьеръ-министръ графъ Витте не получилъ того, чего такъ легко добился министръ финансовъ С. Ю. Витте.

Общество не пришло къ нему на работу.

Почему?

Графъ С. Ю. Витте напоминаетъ мнѣ, — простите странный скачокъ мысли, — тѣхъ очень даровитыхъ артистовъ, — на примѣръ, г. Дальскій, — талантъ которыхъ находится, такъ сказать, на границѣ.

Между драмой и трагедіей.

Когда ихъ видишь въ драмѣ, думаешь:

„Вотъ бы ему въ трагедію!“

Но когда они васъ послушаются и начнутъ играть трагедію...

Вы находите:

— Нѣтъ! Назадъ! Въ драму! Въ драму!

Г. Дальскій удивительно сыгралъ въ „Идіотъ“ Рогожина.

— Трагикъ! — рѣшили всѣ. — Это ужъ не драма.

Отъ Рогожина вѣяло Отелло.

Тогда онъ сыгралъ Отелло и...

Отъ Отелло вѣяло Рогожинымъ.

Когда С. Ю. Витте былъ министромъ финансовъ, всѣмъ казалось:

— Вотъ бы былъ премьеръ-министръ...

La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a *).

И не надо спрашивать отъ человѣка больше того, на что онъ въ состояніи.

При разрѣшеніи вопроса, чего мы можемъ ждать отъ графа Витте, — этого не нужно забывать.

*) Самая хорошенькая дѣвушка на свѣтѣ не можетъ дать больше того, что она имѣетъ.

И быть-можетъ, этого не забыло русское общество, когда графъ Витте поставилъ вопросъ о довѣрїи и о совмѣстной работѣ...

Что жъ дѣлать, что онъ министръ финансовъ!

Бываютъ несчастія и крупнѣе!

А графъ Витте—урожденный министръ финансовъ.

Настоящіе министры финансовъ, какъ поэты,—ими не дѣлаются, — ими рождаются.

Конечно, графъ Витте никоимъ образомъ не принадлежитъ къ тѣмъ, поистинѣ, „не помнящимъ родства“ дѣателямъ, которые выскочатъ случаемъ Богъ вѣсть откуда, надѣлаютъ кровавыхъ пятенъ и исчезнутъ, очень мало думая о судѣ не только потомства, но и современниковъ.

Графъ Витте честолюбивъ.

Для него очень много значить общественное мнѣніе Европы, всего свѣта.

Но что такое для министра финансовъ общественное мнѣніе? И что такое Европа?

Если займы помѣщаются хорошо...

Т.-е. если гг. Ротшильды, Блейхредеръ, Мендельсонъ охотно берутся ихъ размѣстить среди публики.

Министръ финансовъ доволенъ:

— Дѣла моего отечества идутъ отлично, и мы стоимъ во мнѣніи Европы высоко!

Отсюда его географія.

Свѣтъ, въ его глазахъ, не такъ густо населенъ, какъ по нашему мнѣнію.

Какихъ-нибудь полтора-двадцати человѣкъ на всю планету.

Четыре Ротшильда, нѣсколько Блейхредеровъ, Мендельсонъ и немногіе имъ подобные.

Т.-е. тотъ свѣтъ, съ мнѣніемъ котораго нужно считаться.

Тѣ, которые даютъ займы милліарды, реализируютъ займы, помогаютъ государству выходить изъ трудныхъ обстоятельствъ, даютъ возможность вести войны, уплачивать контрибуціи, строить желѣзныя дороги, развивать промышленность и т. д.

Всѣ остальные для министра финансовъ не существуютъ.

Что такое Европа?

Для насъ это—Германія, Австрія, Франція, Англія...

Для министра финансовъ это:

— Ротшильды, Блейхредеры, Мендельсонъ.

— Что такое Шпрее?

— Рѣка, на берегу которой расположенъ Блейхредеръ.

— Что такое Сена?

— На ея берегу возвышается Ротшильдъ.

— Темза?

— А! Это рѣка, протекающая мимо англійскаго королевскаго банка!

Какъ для почтальона:

— Что такое Плевако?

— Новинскій бульваръ, собственный домъ.

И только.

Профессиональный взглядъ.

Неизбѣжный отпечатокъ ремесла.

Какъ относится къ нашимъ событіямъ Европа?

Какая Европа?

— Жанъ-Жоресъ вопить на эстрадѣ, бьетъ себя въ грудь, кричитъ до хрипоты:

— Русская революція... Общее дѣло... Ея побѣда будетъ и нашей побѣдой.

И двухтысячная толпа, переполняющая залъ митинга, единогласно вотируетъ горячее сочувствіе русскимъ „камаратамъ“ и расходится подъ традиціонные звуки „Интернаціоналки“.

— G'est la lutte finale! — мечтательно и задумчиво звучить первая строка.

— Grouppons nous et demain!

Голоса растутъ выше, выше, какъ грозная волна.

— Internationale, — волна упала, что-то успокоительное слышится въ пѣніи, и:

— Sera le genre humaine! — вновь мечтательно, ласково, почти нѣжно заканчивается мечтательная пѣснь пролетаріата.

Но развѣ это „Европа министра финансовъ“?

Что думаетъ о нашихъ дѣлахъ „Европа графа Витте“?

Та Европа, о которой, — о ней одной только, — онъ привыкъ, будучи министромъ финансовъ, думать съ заботой и безпокойствомъ, съ тревогой?

Европа, которая реализируетъ, распредѣляетъ займы...

Ей нужно, чтобы желѣзныя дороги въ странѣ ходили по расписаніямъ, почта приходила во-время и телеграфъ стучалъ безъ перерывовъ на двѣ недѣли.

А главное, — чтобы проценты по бумагамъ поступали въ назначенные дни.

Все, что къ этому ведетъ, — хорошо.

Все, что къ этому не ведетъ, — плохо.

Политика, при которой письмо опоздало на двѣ недѣли, — никуда не годится

Политика, при которой телеграмма пришла во-время, великолѣпна:

— Вотъ настоящая политика, которая нужна этой странѣ!

Эта Европа думала:

„Съ вашей страной происходитъ, дѣйствительно, что-то нескладное. Вы не умѣете сами съ ней управляться, — сдѣлайте то же, что дѣлается въ другихъ странахъ.“

Но этой Европѣ показано:

— Вотъ вамъ! Еще только обѣщана свобода,— что дѣлается? Хорошенькіе три мѣсяца?

И „Европа“, двѣ недѣли не получая отъ должника ни писемъ ни телеграммъ, завопила:

— Позвольте! На что жъ у нихъ Витте? И что дѣлають казаки?

Въ концѣ-то концовъ...

Неужели вы думаете, что этой Европѣ не въ высокой степени безразлично:

— Будетъ у Россіи конституція? Не будетъ у Россіи конституціи?

Да введите хоть крѣпостное право. Посадите всѣхъ жителей подъ арестъ. Приставьте къ каждому обывателю по два конвойныхъ, если у васъ на это хватитъ войскъ.

Но только, чтобы желѣзныя дороги ходили по расписанію, почта получалась во-время и телеграфъ стучалъ какъ слѣдуетъ.

А главное, — проценты поступали исправно.

Вы этого добились, — вы гениальны:

— Настоящій благодѣтель своего отечества!

Цѣна безразлична.

Какой угодно цѣной!

Вы этого не добились, — вы:

— Врагъ своего отечества! Человѣкъ, который губить страну!

Потому что истинное счастье на свѣтѣ испытываетъ, по мнѣнію этой Европы, только та страна, которая платитъ свои проценты.

И большей радости, какъ оплатить купонъ, для патріота нѣтъ.

Такъ думаетъ „Европа графа Витте“, та Европа, съ мнѣніемъ которой онъ привыкъ считаться.

И графъ Витте...

Но я все сравниваю нашего премьеръ-министра то съ индусскимъ богомъ, то съ Наполеономъ.

Боже мой, еще подумаютъ, что я прошу себѣ мѣста начальника главнаго управленія по дѣламъ печати!

Чтобъ предупредить такую догадку, позвольте взять сравненіе изъ другой области.

Графъ С. Ю. Витте передъ лицомъ своей Европы можетъ сказать, пародируя слова городничаго:

— Ежели у меня поѣзда ходятъ по расписанію, почта подается во-время, телеграфъ стучитъ когда угодно, и арестанты...

Арестанты — это мы.

— И арестанты содержатся хорошо, — чего же мнѣ еще отъ Господа Бога нужно?

И „Европа“ ему скажетъ:

— Вѣрно!

Вотъ чего, поистинѣ, мы въ правѣ ждать отъ графа С. Ю. Витте.

Петербургъ одержимъ странною маніей.

Въ Петербургѣ считаютъ себя хорошенькой женщиной.

Повѣтріе!

Отъ котораго въ Петербургѣ не избавленъ никто.

Какой-нибудь статсъ-секретарь. Золотое шитье спереди, золотое шитье сзади. Серебро въ волосахъ. Серебряная борода.

А онъ считаетъ себя хорошенькой блондинкой, съ золотистыми волосами, глазами небснаго цвѣта и очаровательными ямочками на щекахъ.

Хорошенькая женщина!

Она терзаетъ, она мучитъ своего влюбленнаго. Бѣдняжка думаетъ о самоубійствѣ, какъ о праздничномъ отдыхѣ. Мечтаетъ о холодѣ могилы, какъ измученный пѣшеходъ, среди раскаленнаго солнцемъ поля, о прохлаждѣ тѣнистой роши.

Но „она“ улыбулась.

Довольно!

И преданный дуракъ снова лежитъ у ея ногъ, счастливый, какъ могутъ быть на свѣтѣ счастливы только глупые люди.

Съ испаряннымъ сердцемъ, изъ котораго сочится кровь. Но счастливый. Забыто все.

И все исцѣлено.

Въ одинъ моментъ.

Она улыбулась!

Сквозь хорошенькія щелки онъ видитъ два кусочка неба.

И на румяныхъ устахъ играетъ заря.

А ямочки на щекахъ!

Ну, можно ли тутъ не потерять голову? Зачѣмъ же и дана человѣку голова, если ее не терять при такихъ оказіяхъ?

Но вотъ въ одинъ прескверный день она улыбается.

И ничего!

У него „лицо самоубійцы“.

Складка между бровей, углы рта опущены, въ глазахъ одинъ мракъ.

— Ну?

Она удивлена.

Она разсержена.

Она топаетъ ножкой.

Она теряетъ терпѣніе и туфлю.

— Ну? Не смѣть дѣлать такого лица! Развѣ я вамъ не улыбулась? Какъ вы смѣете не быть счастливымъ?

Но вмѣсто того, чтобы потерять голову, онъ ею качаетъ.

Невиданная вещь!

Онъ качаетъ головой.

— Улыбка?

Ему улыбались много разъ, и потомъ начиналось все снова.

Онъ что-то такое бормочетъ.

И требуетъ чего-то такого болѣе существеннаго.

Какъ онъ изволить довольно глупо называть:

— Фактовъ!

Улыбки, самыя многообѣщающія, на него больше не дѣйствуютъ.

Онъ видалъ улыбки!

Съ него довольно улыбокъ!

У хорошенькой блондинки слезы готовы брызнуть изъ глазъ.

Онъ смѣетъ такъ говорить объ ея улыбкахъ!

Онъ!!! Онъ?!?!

— Что случилось?

— Богъ вѣсть, сударыня!

Но время шло, пока вы улыбались многообѣщающими улыбками.

Быть-можетъ, вы постарѣли и подурнѣли за это время. Быть-можетъ, вашъ преданный за это время сталъ старше и съ лѣтами умнѣе.

Но время, всемогущее — увы! — время что-то измѣнило.

Вещь, которой не понимаютъ, не хотятъ понять, не могутъ понять, которой никогда не поймутъ въ Петербургѣ!

Ахъ, Боже мой! Это такъ естественно!

Такъ трудно разставаться съ мыслью о своей все-сокрушающей очаровательности.

Спросите любимую женщину...

Графъ Витте палъ жертвою того же петербургскаго повѣтрія.

— Довольно имъ улыбнуться!

И общество и страна...

Чѣмъ больше они страдали, тѣмъ скорѣе все будетъ забыто.

Ему улыбнулись! Какое счастье! Какое небо! Какая заря!

Весна!

Вѣдь вонъ князь Святополкъ-Мирскій! Полуулыбнулся, можно сказать, четверть-улыбнулся:

— Довѣріе!

И все засіяло.

Какой восторгъ въ отвѣтъ!

— Сударыня! Это была послѣдняя улыбка! Послѣдняя, которая совершила чудо! Время! Время! Всемогущее время! Которое все уноситъ съ собой, — насъ, и нашу вѣру, и наши улыбки, и наше очарованіе! Время! Сморщенные бровки больше никого не повергаютъ въ бездну отчаянія, и улыбка болѣе не исцѣляетъ ничего!

Цѣлительный бальзамъ, который такъ часто открывали, что онъ выдохся и потерялъ всю свою силу.

С. Ю. Витте возвращается изъ Портсмута сіяющій, ликующій.

Америка, Европа, Нью-Йоркъ, Парижъ, Берлинъ, — вездѣ оваціи.

— Портсмутскій побѣдитель!

Развѣ онъ не хорошъ, какъ никогда?

И...

Петербургская дума собирается на совѣщаніе, чтобы обсудить вопросъ:

— Добавить ли къ высокому званію графа Витте еще и скромный титулъ почетнаго гражданина Петербурга?

И рѣшаетъ:

— Нѣтъ!

Почему?

— Онъ, его политика была, въ концѣ-то концовъ, первой причиной войны.

Какое злопамятство!

Портсмутская улыбка не заставила забыть ничего!

Въ эту минуту исторія грянула ригурнель.

Танецъ долженъ начаться.

Графъ Витте протянулъ руку съ очаровательнѣйшей полуулыбкой:

— Почти конституція!

Все будетъ забыто! Восторгъ и ликование! Балъ открывается. Громче, оркестръ!

И...

Рука графа Витте „осталась въ воздухѣ“.

Съ исчезнувшей еще улыбкой на лицѣ, съ протянутой рукой онъ остался одинъ среди зала, въ позѣ стѣснительной неловкой и странной.

— Какъ вы сдѣлаете революцію?—спросили когда-то въ Версали другого графа—Мирабо.

— Les bras croisés!—отвѣтилъ онъ, скрестивъ руки. „Сложивъ руки“.

Вонъ еще пророчество о всеобщей забастовкѣ, какъ средствѣ революціи! Когда еще оно произнесено!

Графъ Витте встрѣтился лицомъ къ лицу съ самой невиданной забастовкой въ мірѣ.

Въ которой было что-то буддистское!

„Со сложенными ногами“.

Какъ Будды,—всѣ сидѣли, поджавъ подъ себя ноги.

Никто не хотѣлъ танцевать.

Графъ Витте улыбался.

Въ отвѣтъ:

— Фактовъ!

Графъ Витте убѣждалъ, просилъ:

— Да вы, господа, только танцуйте со мной,—факты будутъ.

Чѣмъ больше они страдали, тѣмъ скорѣе все будетъ забыто.

Ему улыбнулись! Какое счастье! Какое небо! Какая заря!

Весна!

Вѣдь вонъ князь Святополкъ-Мирскій! Полуулыбнулся, можно сказать, четверть-улыбнулся:

— Довѣріе!

И все засіяло.

Какой восторгъ въ отвѣтъ!

— Сударыня! Это была послѣдняя улыбка! Послѣдняя, которая совершила чудо! Время! Время! Всеобщее время! Которое все уноситъ съ собой, — насъ, и нашу вѣру, и наши улыбки, и наше очарованіе! Время! Сморщенные бровки больше никого не повергаютъ въ бездну отчаянія, и улыбка болѣе не исцѣляетъ ничего!

Цѣлительный бальзамъ, который такъ часто открывали, что онъ выдохся и потерялъ всю свою силу.

С. Ю. Витте возвращается изъ Портсмута сіяющій, ликующій.

Америка, Европа, Нью-Йоркъ, Парижъ, Берлинъ, — вездѣ оваціи.

— Портсмутскій побѣдитель!

Развѣ онъ не хорошъ, какъ никогда?

И...

Петербургская дума собирается на совѣщаніе, чтобы обсудить вопросъ:

— Добавить ли къ высокому званію графа Витте еще и скромный титулъ почетнаго гражданина Петербурга?

И рѣшаетъ:

— Нѣтъ!

Почему?

~~Large~~ EL PASO .

FOURTH THE RE STATE OF THE UNION.

~~IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA~~

TRANSFERRING RIGHTS

- LASTI KERTTUNEN

Без учета добычи. Расчеты и списание. Не отменяется. Точка отсчета.

I...

TYPE TRADE MARK NOTICES IN REGISTRATION

LE HENCHER-THOMAS ACH YANOSOT BE JUNE. ET HIC
 THEOTOT JEROI OPE COLLEGE LINDY JUNE. 8800. ET HIC
 CRYCHER-THOMAS HENCHER I JUNE.

— LATE BE BELIEVED JOURNAL — QUARTER NO. 18 —
 TO BE DEVOTE ENTIRE THROU — NIKKON

— LES DEUX HOMMES: — INTERIEUR D'UN CANTINIER JAPON.
— SCENE DE THEATRE.

DOES THE INFORMATION RELAYED ABOVE, NOT
 CONTRADICT PUBLICITY FROM THE DEPARTMENT?

Графъ Бетте въведенъ въ домъ въ 12 часовъ
пожили въ бытность въ Моск.

DE WITTE'S EENIGE VERBODEN!

CO. CLERKSHIP EXAM.

КАКЪ БУДЫ, — ВСѢ СЛѢДЫ. ПОЖАРЪ ПОЛЪ 1914
НОГЬ.

Никто не хотѣлъ танцовать.

Графъ Витте улыбался.

Въ отвѣтъ:

— Фактовъ!

Графъ Витте убѣждать, просить:

— Да вы, господа, только танцуйте со мной, факты будутъ.

Фактовъ нѣтъ, — передъ фактами!

Въ отвѣтъ:

— Фактовъ!

— Фу, Господи, какіе вы странные! Видите, — улыбка? Развѣ улыбка не фактъ?! Какихъ же вамъ еще фактовъ нужно?

Въ отвѣтъ одно и то же:

— Фактовъ!

И уставъ стоять одинъ, среди зала, въ позѣ странной и стѣснительной, графъ Витте раасердился.

— Не желаете танцовать со мной? Не нужно! Одинъ танцовать буду! Со стуломъ!

И онъ пошелъ танцовать одинъ.

Но уже другой танецъ...

— „Но я хвалить васъ не хочѹ“.

Стальные перья существуютъ не за тѣмъ, чтобы льстить.

Даже цѣлому обществу!

Я понимаю, до боли въ сердцѣ понимаю я, почему русское общество, изстрадавшееся, истомившееся, истерзавшееся и истерзанное русское общество не пошло танцовать по первой улыбкѣ.

Оно видѣло уже столько многообѣщающихъ улыбокъ!

Нельзя винить его за этотъ скептицизмъ.

Нѣтъ общества болѣе довѣрчиваго.

Вспомните слова князя Святополкъ-Мирскаго.

И если общество, отъ одного слова „довѣріе“ способное переполняться довѣріемъ и приходить въ экстазъ, — если даже такое общество стало „омой невѣрнымъ“, — не его въ томъ вина.

Поистинѣ, не его!

Но танцовать все-таки слѣдовало.

Зачѣмъ?

Господа, у насъ есть двѣ инстанціи.

Куда мы можем приносить жалобы.
 Апелляціонная — Европа.
 И кассационный департаментъ — исторія.
 Которая кассируетъ всѣ приговоры.
 Въ кассационномъ-то департаментѣ мы выиграемъ.
 Исторія-то вынесетъ намъ оправдательный приговоръ.

Исторія-то покажетъ:

— Въ этомъ процессѣ были правы они!

И присудить въ нашу пользу. Все взыщеть.

Но когда?

Когда мы будемъ костями, а наши гроба — гнилушками?

Это напоминаетъ „посмертные процессы“ о возстановленіи добраго имени.

Какое-то дѣло Калляса, колесованнаго, за котораго нѣсколько лѣтъ послѣ казни подсудимаго, вступился Вольтеръ.

Вольтеръ побѣдилъ.

Память Калляса предстала чистой, какъ лилія, какъ снѣгъ.

Онъ не былъ виноватъ.

Преступленіе было его казнить!

Память Калляса была реабилитирована.

И какъ торжественно!

Но Каллясъ - то вѣдь все-таки умеръ, прибитый гвоздями къ колесу, среди страшныхъ мукъ.

Это напоминаетъ процессъ, который сейчасъ происходитъ въ Парижѣ.

Кассационный судъ собирается кассировать приговоръ, поставленный 20 лѣтъ тому назадъ.

Какой-то человѣкъ былъ осужденъ въ каторгу за убійство.

И вотъ теперь дознано, что онъ былъ не виновенъ. Настоящій убійца открытъ, сознался.

Фактовъ нѣтъ, — передъ фактами!

Въ отвѣтъ:

— Фактовъ!

— Фу, Господи, какіе вы странные! Видите, — улыбка? Развѣ улыбка не фактъ?! Какихъ же вамъ еще фактовъ нужно?

Въ отвѣтъ одно и то же:

— Фактовъ!

И уставъ стоять одинъ, среди зала, въ позѣ странной и стѣснительной, графъ Витте разсердился.

— Не желаете танцевать со мной? Не нужно! Одинъ танцевать буду! Со стуломъ!

И онъ пошелъ танцевать одинъ.

Но уже другой танецъ...

— „Но я хвалить васъ не хочѣ“.

Стальные перья существуютъ не за тѣмъ, чтобы льстить.

Даже цѣлому обществу!

Я понимаю, до боли въ сердцѣ понимаю я, почему русское общество, изстрадавшееся, истомившееся, истерзавшееся и истерзанное русское общество не пошло танцевать по первой улыбкѣ.

Оно видѣло уже столько многообѣщающихъ улыбокъ!

Нельзя винить его за этотъ скептицизмъ.

Нѣтъ общества болѣе довѣрчиваго.

Вспомните слова князя Святополкъ-Мирскаго.

И если общество, отъ одного слова „довѣріе“ способное переполняться довѣріемъ и приходитъ въ экстазъ, — если даже такое общество стало „Ѳомой невѣрнымъ“, — не его въ томъ вина.

Поистинѣ, не его!

Но танцевать все-таки слѣдовало.

Зачѣмъ?

Господа, у насъ есть двѣ инстанціи.

Куда мы можем приносить жалобы.
 Апелляціонная — Европа.
 И кассационный департаментъ — исторія.
 Которая кассируетъ всѣ приговоры.
 Въ кассационномъ-то департаментѣ мы выиграемъ.
 Исторія-то вынесетъ намъ оправдательный приговоръ.

Исторія-то покажетъ:

— Въ этомъ процессѣ были правы они!

И присудить въ нашу пользу. Все взыщеть.

Но когда?

Когда мы будемъ костями, а наши гроба — гнилушками?

Это напоминаетъ „посмертные процессы“ о возстановленіи добраго имени.

Какое-то дѣло Калляса, колесованнаго, за котораго нѣсколько лѣтъ послѣ казни подсудимаго, вступился Вольтеръ.

Вольтеръ побѣдилъ.

Память Калляса предстала чистой, какъ лилія, какъ снѣгъ.

Онъ не былъ виноватъ.

Преступленіе было его казнить!

Память Калляса была реабилитирована.

И какъ торжественно!

Но Каллясъ - то вѣдь все-таки умеръ, прибитый гвоздями къ колесу, среди страшныхъ мукъ.

Это напоминаетъ процессъ, который сейчасъ происходитъ въ Парижѣ.

Кассационный судъ собирается кассировать приговоръ, поставленный 20 лѣтъ тому назадъ.

Какой-то человѣкъ былъ осужденъ въ каторгу за убійство.

И вотъ теперь дознано, что онъ былъ не виновенъ. Настоящій убійца открытъ, сознался.

за условія, за обстоятельства и прочее, и такъ далѣе, и тому подобное.

Мы должны были танцевать съ графомъ Витте, чтобы хоть попытаться заставить его танцевать по-нашему.

Мы должны были танцевать съ графомъ Витте, чтобы поставить его въ глазахъ Россіи, Европы, всего міра, исторіи,—вѣдь долженъ же чего-нибудь бояться всякій человѣкъ, самый „безстрашный“, — чтобы поставить его въ невозможность танцевать другой танецъ, а не тотъ, на который онъ насъ ангажироваль.

Мы должны были танцевать съ графомъ Витте, потому что больше не съ кѣмъ было въ эту минуту танцевать.

Найдите въ административныхъ кругахъ другого человѣка, болѣе европейца. Болѣе умомъ своимъ понимающаго требованія времени и яснѣе въ глубинѣ души отдающаго себѣ отчетъ въ томъ, что губить страну.

Мы должны были танцевать съ графомъ Витте за отсутствіемъ тамъ другихъ танцоровъ.

А минута была такая, что танцевать было необходимо.

Не танцевать было нельзя.

Исторія сыграла ригурнель.

Не будемъ же, заклиная васъ, повторять тѣхъ людей, про которыхъ говоритъ Эдгаръ въ „Королѣ Лирѣ“:

„Смѣшные люди! Они ищутъ причинъ своихъ несчастій на небѣ, въ движеніи планетъ и только не въ самихъ себѣ“.

Будемъ умны, холодны, спокойны, безпристрастны, строги къ себѣ, — чтобы быть сильными.

Не будемъ исходить безконечными жалобами на другихъ, на подлое коварство.

Что же мы за ничтожество, что отъ насъ, отъ нашего поведенія ничего не зависѣло?

Не будемъ закрывать глаза на собственныя ошибки.

Будемъ искать ихъ, чтобы видѣть и не повторять.

Будемъ неумолимо строги, до придирчивости, прежде всего, къ себѣ.

Незабвенные — увы! — октябрьскіе дни!

Русской „веснѣ“ суждено начинаться всякій годъ осенью.

„Открывается первая рама, и въ комнату шумъ ворвался“.

И какихъ-какихъ ребяческихъ голосовъ не было въ этомъ шумѣ.

Отворили желѣзные заржавѣвшіе запоры, открыли тяжелыя, кованныя двери, — и мы, — мы никогда не видали луга, — мы немножко сошли съ ума отъ воздуха, отъ свѣта, отъ зелени, отъ горизонта, открывшагося глазамъ.

Далекаго! Далекаго!

Какъ дѣти, мы кинулись кувыраться по травѣ.

Вы помните, съ чего это началось?

Что было первымъ въ этомъ требованіи:

— Фактовъ!

Вопросъ объ амнистіи.

— Полной!

Разсудимъ спокойно.

Сомнѣвался ли кто-нибудь изъ тѣхъ, кто издавалъ этотъ благородный и человѣчный крикъ, — могъ ли сомнѣваться вообще кто-нибудь, — что если бы Государственная Дума собралась, имѣла возможность собраться, что если бы — чего нельзя было не ожидать — эта Дума была хоть чуть-чуть не реакціонной...

Могъ ли кто-нибудь сомнѣваться, что первымъ постановленіемъ этой Думы было бы требованіе „забвенья прошлаго“.

То-есть амнистія.

Свирѣпая борьба кончена. Началась мирная работа и мирная борьба.

Полное забвеніе прошлому. То-есть полная амнистія.

Такъ бывало, такъ бываетъ вездѣ. Иначе не можетъ быть нигдѣ.

Иначе не могло быть даже и у насъ.

Первая Дума потребовала бы этого, и вотъ тогда бы вся страна увидѣла, какова цѣна этой Думѣ.

Ставятся во что-нибудь или ни во что не ставятся постановленія представителей страны?

И несомнѣнно, что правительство не захотѣло бы, по первому же абцугу—и по такому вопросу—стать въ оппозицію къ Думѣ и сказать странѣ:

— Съ перваго же слова говоримъ вамъ, что мнѣніе вашихъ представителей не ставимъ ни въ грошъ!

Дума должна была собраться въ январѣ, и въ январѣ была бы, несомнѣнно, объявлена полная амнистія.

О чемъ же шелъ разговоръ въ октябрѣ?

О трехъ мѣсяцахъ?

Трудно и щекотливо и тяжело говорить человѣку, находящемуся на свободѣ, о лишнѣхъ трехъ мѣсяцахъ тюрьмы для людей, въ ней истомившихся.

Но...

Одному раненому сербскому заговорщику докторъ сказалъ:

— Вамъ придется отнять руку. Вы согласны?

Тотъ только разсмѣялся въ отвѣтъ:

— Докторъ, когда я шелъ, я составилъ духовное завѣщаніе. Я заранѣе считалъ себя убитымъ. Рѣжьте руку, — все остальное у меня будетъ въ выигрышъ!

Можно какъ угодно смотрѣть на тѣхъ, для кого требовали немедленной амнистіи.

Но въ одномъ никто имъ не можетъ отказать: въ томъ, что, прежде всего, они жертвовали собой *).

И я думаю, что если бы людямъ, рѣшившимъ по-жертвовать жизнью, предложить вопросъ:

— Какъ хотѣли бы выйти? Черезъ три мѣсяца совершенно спокойно? Или сейчасъ же, по лужамъ человѣческой крови и черезъ груды человѣческихъ тѣлъ?

Эти люди отвѣтили бы:

— Мы жертвуемъ тремя мѣсяцами нашей жизни.

Но мы требовали, чтобъ это сдѣлала не Государственная Дума черезъ три мѣсяца, а графъ Витте и немедленно **).

— Это и будетъ первымъ фактомъ! Фактовъ!

Но, милостивые государи, могъ ли это сдѣлать именно графъ Витте?

Не требовали ли мы отъ него невозможнаго?

Можно ли, напримѣръ, требовать, чтобы бѣлокурый человѣкъ кричалъ:

— Бей блондиновъ!

Какъ же требовать отъ министра, чтобы онъ восклицалъ:

— Бей министровъ!

И чтобы именно министр Витте настаивалъ на немедленномъ освобожденіи первымъ дѣломъ убійцъ двухъ министровъ.

Въ частности — Витте былъ противникомъ Плеве.

Это знаютъ всѣ.

*) Цитирую отчетъ объ общемъ присутствіи Государственного Совѣта, 21-го января, по вопросу о смертной казни за политическія убійства:

— Эти люди столь фанатичны, что ихъ не утратить ничто,— они и такъ всегда идутъ на вѣрную смерть.

**) И что же въ результатъ? Сокращенъ срокъ заключенія? Когда теперь будетъ амнистія?

Всѣ знаютъ также, что, по крайней мѣрѣ, въ октябрѣ противъ Витте была въ Петербургѣ сильная партія.

И вы требуете, чтобъ первое, что онъ сдѣлалъ бы, очутившись у власти, — освободилъ убійцу своего врага?

Какой козырь это значило бы дать въ руки противной партіи.

Генераль Треповъ могъ стоять за полную амнистію. У него не было личныхъ счетовъ. Графъ Витте, первымъ долгомъ требующій:

— Освободите Сазонова!

Странная фигура. Странное положеніе.

— Ахъ, это ужъ политика!

Въ политикѣ никакъ нельзя обойтись безъ политики.

Вамъ-то, конечно, „до всего этого нѣтъ никакого дѣла“. Но графу Витте до всего, что касается графа Витте, согласитесь, есть дѣло.

Чего не приходилось читать въ эти дни, — первые дни, когда отъ избытка сердца уста лепечуть трогательный вздоръ!

Въ одной — теперь покойной — газетѣ я читалъ даже требованіе:

„Пусть г. Витте открыто пристанетъ къ намъ!“

А „мы“ — это была газета революціонной партіи.

Представьте себѣ эту картину.

Графъ Витте объявляетъ:

— Я — революціонеръ!

Вопросъ: сколько минутъ послѣ этого онъ остался бы премьеръ-министромъ?

И какую бы пользу могла извлечь изъ него та партія, въ интересахъ которой ему предлагали къ ней „примкнуть“?

Что бы могъ послѣ этого дѣлать графъ Витте?

Носить красный флагъ? Или пѣть революціонныя пѣсни?

Вотъ то, чѣмъ мы проигрывали дѣло въ апелляціонной инстанціи—Европѣ—и, что гораздо важнѣе, въ глазахъ многихъ и многихъ въ нашей странѣ.

Было много восторга и мало дѣловитости.

Съ тѣхъ поръ...

Какой поворотъ вальса совсѣмъ въ другую сторону!

Гдѣ тотъ божественный Кришна, который съ застывшей любезной улыбкой и „повисшей въ воздухѣ“ рукой, въ неловкой и стѣснительной позѣ, стоялъ посреди зала?

Предлагалъ всѣмъ.

Д. Н. Шипову.

— Не возьмусь. Я слишкомъ умѣренный. Кабинетъ будетъ одностороненъ.

А. П. Гучкову.

— Нѣтъ-съ. Куда-съ. Мы въ ретроградахъ!

Даже М. А. Стаховичу предлагали:

— Вдругъ стать министромъ народнаго просвѣщенія.

Тому:

— Не пойду потому-то.

Другому:

— Не пойду поэтому-то.

Третьему:

— А я просто не пойду!

Графъ Витте сердится, и очаровательная улыбка мало-по-малу сходитъ съ лица.

Лицо становится другимъ.

Гдѣ тѣ дни, когда депутаціи уходили отъ него, съ большимъ трудомъ устоявъ противъ очарованія?

Теперь все чаще отчеты о приѣмѣ депутацій заканчиваются одной и той же фразой:

— Графъ былъ суровъ. Депутація ушла недовольной.

Онъ сердится все сильнѣе и сильнѣе.

Онъ говоритъ:

— А! Вы все сочувствовали стачкамъ! Вотъ и узнайте, что такое стачки!

Это ужъ наказаніе всей страны.

За что?

Графъ Витте просилъ кредита.

Страна нашла, что графъ Витте такого кредита не заработалъ.

И графъ Витте за то, что онъ кредита не заработалъ, сердится на страну же?

И наказываетъ?

И какъ!

Цитирую по газетамъ:

— Статистика. Съ 25-го декабря 1905 года по 25-е января 1906 года.

За одинъ мѣсяцъ!

Хорошо хоть имѣлъ 31 день. А если бы это былъ февраль!

— 78 газетъ закрыто въ 17 городахъ. 58 редакторовъ посажено подъ арестъ, изъ нихъ 46 освобождено подъ залогъ, въ общемъ въ 386,500 рублей. Военное положеніе объявлено въ 62 мѣстностяхъ, положеніе усиленной охраны — въ 23-хъ. Не считая числа убитыхъ и раненыхъ въ Москвѣ: во время столкновений съ войсками убито 1,203 человѣка, ранено 1,624. Счесть число арестовъ невозможно, — но въ 14-ти городахъ арестованныя лица должны содержаться въ полицейскихъ участкахъ, такъ какъ тюрьмы переполнены.

Какой ореолъ!

И какъ въ сіяніи этого новаго ореола потонула слабая полуулыбка перваго русскаго „конституціоннаго премьеръ-министра“.

Какъ, говоря на нашемъ газетномъ языкѣ:

— Изъ „Русскихъ Вѣдомостей“ человѣкъ перешелъ въ „Московскія“.

Богъ Кришна началъ съ другой ноги — и больше ничего.



П. Н. Дурново.

(Этюдъ).

Да, Флоридоръ есть Селестень!

А Селестень есть Флоридоръ.

П. Н. Дурново и В. К. Плеве кончили одинъ и тотъ же университетъ.

И тотъ и другой прошли департаментъ полиціи.

Кто сдѣлаетъ хорошую характеристику г. Дурново,— напишетъ отличный некрологъ Плеве. И чтобъ имѣть біографію г. Дурново, надо взять добросовѣстный некрологъ фонъ-Плеве.

Это два рубля, вычеканенные на одномъ и томъ же монетномъ дворѣ.

Едва сѣвши на обрызганное кровью кресло министра внутреннихъ дѣлъ, Плеве пригласилъ къ себѣ корреспондента парижской газеты „Matin“ и черезъ него объявилъ всей Европѣ:

— Эпидемія убійствъ высшихъ сановниковъ зависѣла у насъ отъ недостатка полиціи. Теперь составъ полиціи будетъ увеличенъ. Покойный Сипягинъ былъ послѣднимъ. Больше въ Россіи не случится ни одного политическаго убійства.

Такъ говорилъ человѣкъ, которому самому суждено было погибнуть отъ руки политическаго убійцы.

Если въ тотъ страшный мигъ, когда Сазоновъ, на глазахъ Плеве, подбѣгалъ къ каретѣ съ поднятой бом-

бой, — въ головѣ фонъ-Плеве успѣла пронестись хотѣ одна мысль, — эта мысль, навѣрное, была:

— Чего смотритъ полиція?

И если душа человѣка, оставляя эту юдоль печали, могла бы судить, — душа фонъ-Плеве и въ эту минуту обвинила бы, говоря полицейскимъ же языкомъ, въ происшествіи не страшную политику, озлобляющую умы и сердца, не политику, вкладывающую бомбы въ тѣ руки, которыя охотнѣе держали бы мирное перо, не терроръ, вызывающій терроръ, — а только того бѣд-нягу охранника-велосипедиста, который налетѣлъ на Сазонова слишкомъ поздно.

— Плохо ѣздитъ на велосипедѣ, — оттого все и случилось.

Долженъ былъ во-время налетѣть.

Тащить и не пускать.

Полицейскій можетъ видѣть истинныя причины...

Въ Полтавѣ вспыхнули беспорядки.

Заѣхавъ въ Троице-Сергіеву лавру, словно онъ былъ Димитрій Донской и ѣхалъ воевать противъ татаръ, а не русскихъ же людей...

Лавра не дала ему только Пересвѣта и Осляби.

У Плеве былъ князь Оболенскій.

Заѣхавъ въ Троице-Сергіеву лавру, фонъ-Плеве проѣхалъ въ Полтаву и, посѣтивъ поля битвъ, вотъ какое вынесъ убѣжденіе.

Его собственныя слова:

— Въ Полтавской губерніи аграрные беспорядки? Ничего нѣтъ удивительнаго. Явленіе естественное.

„Арифметически неизбѣжное“.

— Въ Полтавской губерніи столько же душъ населенія, сколько десятинъ земли. По десятинѣ приходится на душу. При нашей обработкѣ земли десятины только-только хватитъ „душѣ“, чтобы не умереть съ голоду. А въ Полтавской губерніи находятся самыя

крупныя частныя помѣстья. Считите же, поскольку остается на душу населенія!

Слѣдовательно, что же?

Нужно выселить избытокъ населенія въ какія-нибудь мѣстности, подходящія по климату, по землѣ, къ привычной „полтавщинѣ“.

Напримѣръ, на свободныя земли на Кавказѣ?

Надо войти въ соглашеніе съ крупными частными владѣльцами, не продадутъ ли они, черезъ крестьянскій банкъ, на человѣчныхъ условіяхъ, избытки своей земли нуждающемуся въ ней оставшемуся населенію? Выяснить имъ, что это необходимо въ интересахъ ихъ же безопасности?

Нѣтъ.

Такъ, приблизительно, показалось бы всякому.

Но фонъ-Плеве — бывшій директоръ департамента полиціи.

Слѣдовательно...

— Слѣдовательно, необходимо создать институтъ деревенской полиціи, чтобъ она слѣдила за агитаторами!

Это естественно и это логично.

Отрицать всемогущество полиціи для полицейскаго — самоубійство.

Полицейскій можетъ даже видѣть, что онъ ошибается.

Но...

Фонъ-Плеве, заявлявшій, что съ увеличеніемъ полиціи:

— Больше въ Россіи не будетъ ни одного политическаго убійства.

Потомъ меланхолически говорилъ:

— Я знаю день, въ который меня убьютъ. Это будетъ въ одинъ изъ четверговъ. Въ четвергъ я выѣзжаю для доклада.

И... И Сазоновъ не могъ ошибиться, въ которую изъ каретъ бросить бомбу.

Въхало нѣсколько каретъ.

Ему оставалось только выбрать ту, которую окружали велосипедисты.

Полицейскій можетъ быть охваченъ даже хорошими намѣреніями.

Но онъ не можетъ остановиться.

„Нѣчто полицейское“ влечетъ его какъ рокъ.

Даже по тому пути, который онъ считаетъ ошибочнымъ.

Получивъ наслѣдство послѣ Сипягина, даже фонъ-Плеве нашелъ...

Быть-можетъ, даже съ отвращеніемъ:

— Слишкомъ много народа по тюрьмамъ.

И кто, — я говорю о тѣхъ „счастливыхъ“ временахъ, — больше сажалъ, какъ не Плеве?

И что Плеве другое дѣлалъ все свое правленіе?

Когда умеръ Плеве, тюрьмы оказались вдвое больше переполненными, чѣмъ при Сипягинѣ.

Есть вещи, прямо недоступныя полицейскому уму.

Фонъ-Плеве выражалъ свое глубокое изумленіе „либеральнымъ“ предводителямъ дворянства:

— Удивляюсь, господа, съ какой стати вы принимаете участіе въ движеніи? Вы — господствующее сословіе. Развѣ вамъ живется плохо?

Развѣ вамъ не слышится въ этомъ околоточный надзиратель, который говоритъ „чисто одѣтому“ господину, вступившемуся за бабу, которую бьютъ:

— Проходите, господинъ! До васъ не касается.

Полицейскому уму никакъ не понять, что нельзя ѣсть съ аппетитомъ, если стѣна объ стѣну со столовой помѣщается застѣнокъ:

— Вѣдь не васъ сѣкутъ, вы и кушайте!

Онъ говоритъ это съ совершенно искреннимъ убѣжденіемъ.

— Я хочу достойнаго человѣческаго существованія! Вы понимаете: не просто существованія! А достойнаго! — вопить обыватель.

Полицейскій искренно изумленъ:

— Городовой, который на перекресткѣ стоитъ, хоть вы и штатскій человѣкъ, вамъ подъ козырекъ дѣлать! Какого же еще достойнаго существованія вы, господинъ, требуете? Прямо, — почетное даже вамъ предоставлено!

Требовать отъ полицейскаго, чтобы онъ разбирался въ такихъ „деликатностяхъ“!

Принимая покойнаго Н. К. Михайловскаго, фонъ-Плеве „похвалилъ“ знаменитаго публициста:

— Мы вамъ благодарны. Вы оказали намъ услугу борьбой противъ марксистовъ.

Онъ не хотѣлъ обидѣть Михайловскаго.

Онъ хотѣлъ ему доставить удовольствіе:

— Похвала всегда пріятна!

А бѣдный Михайловскій, быть-можетъ, въ эту минуту охотно вычеркнулъ бы все, что онъ написалъ противъ марксистовъ, чтобы только не слышать этой похвалы и изъ этихъ устъ.

Полицейскій, при обыскѣ у васъ, брезгливо, двумя пальцами, беретъ лежащія между листами книги засохшіе цвѣты:

— Это что за дрянь?

— Это цвѣты съ могилы моей матери! — весь дрожа отъ негодованія, говорите вы.

Онъ считаетъ долгомъ пошутить:

— А не съ могилы какого-нибудь повѣшеннаго?

— Оставьте! — кричите вы, едва сдерживаясь.

Онъ смотритъ на васъ съ удивленіемъ:

„Чего взбеленился?“

И кладетъ цвѣты обратно.

Одинъ листокъ прилипъ къ его пальцамъ,—особенность всего прилипать къ полицейскимъ пальцамъ,—онъ машинально перетираетъ засохшій листокъ между пальцами и продолжаетъ обыскъ.

Онъ и не замѣтилъ, какъ пальцемъ задѣлъ и ковырнулъ у васъ въ душѣ.

Есть вещи, которыя недоступны полицейскому уму.

Полицейскій все и вся судить только съ полицейской точки зрѣнія.

Это естественно.

Профессиональная точка зрѣнія.

Вы говорите доктору:

— Тяжело что-то! Работать не могу. Не только работать,—жить на свѣтѣ не хочется!

Онъ машинально говоритъ вамъ:

— Покажите языкъ.

Надъ страной разразилось величайшее бѣдствіе, какое можетъ разразиться надъ страной.

Война.

Одни,—ихъ немного, у полиціи нѣтъ достаточно средствъ, чтобъ ужъ очень многимъ платить по полтиннику,—одни ходятъ по улицамъ и вопятъ:

— Ура! Бить япошку! Бить макаку!

Другіе смущенной душой молятъ, какъ въ страшный часъ Геосиманскаго моленья:

— Отче! Да минуетъ насъ чаша сія!

Истинно страшная, Геосиманская, ночь первой атаки Портъ-Артура.

Будетъ война или не будетъ?

Третьи, вспоминая Севастопольскую Голгофу и воскресенье послѣ нея Россіи, говорятъ:

— Да, да минуетъ насъ чаша сія. Но да будетъ, Отче, такъ, какъ Ты хочешь, а не мы. И будетъ Голгофа, и будетъ страшная крестная смерть,—и насту-

пить пресвѣтлое и радостное воскресеніе. Тамъ, на скалахъ Артура, какъ на Голгоѣ, распята будетъ Русь и, искупивъ своей кровью грѣхи другихъ, воскресеть новая, сіяющая, ликующая. Вѣруемъ, что воистину воскреснетъ!

Всѣ были смятены.

Всѣ души потрясены.

Одинъ полицейскій оставался спокойнымъ.

И фонъ-Плеве находилъ, что данное „пронсшествіе“ „весьма удобно“ въ полицейскихъ видахъ.

Будутъ горы труповъ и рѣки крови.

— Но это отвлечетъ отъ внутреннихъ безпорядковъ!

Маратъ былъ не жалостливый человѣкъ.

Но и Маратъ остановился бы передъ такими дымящимися горами человѣческихъ труповъ и передъ такими рѣками горячей крови.

Наполеонъ не высоко цѣнилъ человѣческую жизнь.

Но если бы ему предложили сотнями тысячъ человѣческихъ жизней и неисчислимыми человѣческими страданіями купить не тронъ, не владычество надъ міромъ, а только „тишину и спокойствіе“, — онъ съ отвращеніемъ пожалъ бы сутулыми плечами.

Но одинъ — „кровожадный сумасшедшій“. Другой — гений, считающій себя сверхчеловѣкомъ.

Полицейскій чувствуетъ себя совершенно спокойно.

Пожаръ?

Надо тушить.

Чѣмъ? Воды!

— Не трогайте! Это святая вода!

Для полицейскаго нѣтъ святой воды.

— Лей!

Водой или кровью:

— Но пожаръ полагается тушить!

Таковъ „уставъ его рыцарства“:

— Чтобъ царствовала тишина и спокойствіе.

А какой цѣной — полицейскому безразлично.

Полицейскіе не задумываются:

Не даромъ ихъ любимое слово:

— Не разсуждать!

Страданія родины потушить въ ея крови!

„Гуманныя“ пули, шрапнель съ ея какими-то „вер-
тящимися стаканами“, снаряды, начиненные шимозой, —
все это уноситъ тысячи, десятки тысячъ жизней.

Раненые безъ перевязки. Истекаютъ кровью. Меди-
цинская помощь недостаточна.

Земства, другія общественныя учрежденія, — всѣ, въ
комъ есть душа, снаряжаютъ санитарныя отряды.

Полицейскій, фонъ-Плеве, говоритъ:

— Нельзя.

На улицѣ раздавили человѣка.

И подоспѣвшій бравый околоточный говоритъ толпѣ:

— Проходите! Проходите! Чтобъ не было скопленія
публики!

Для него главное:

— Чтобъ не было скопленія публики!

— Да мы хотимъ помочь!

— Проходите! Говорятъ вамъ! Не скопляйтесь, не
скоплайтесь, господа!

„Скопленіе публики“. „Могутъ произойти непо-
рядки“.

Что для фонъ-Плеве стоны, кровь, смерть тысячъ
раненыхъ?

Его беспокоитъ полицейская мысль:

— Общественная организованная помощь. Никакихъ
общественныхъ организацій не должно быть допу-
скаемо...

Въ своемъ „университетѣ“, департаментѣ, онъ вос-
принялъ:

— Общественныя организаціи опасны. Для предупрежденія революціи надо, чтобы общество не умѣло организоваться.

Какъ околоточный надзиратель въ своей гимназіи, участкѣ, выучилъ наизусть:

— Скопленія публики не допускаются. Отъ этого могутъ возникнуть безпорядки.

— Да мы же хотимъ помочь! Помочь только! Есть у васъ душа?!

— Помогать—дѣло начальства. Можете черезъ начальство. А самой публикѣ въ происшествіе вмѣшиваться не полагается.

Желаете помочь:

— Вотъ участокъ!

У полиціи тоже есть фантазія.

И эта фантазія достаточно фантастична!

Идеаль обывательскаго существованія въ полицейской фантазіи:

— Обыватель, обуреваемый высокими чувствами, идетъ угасить ихъ въ участокъ. Приходитъ и, какъ на духу, исповѣдуются своему приставу: „Люблю свою родину!“ Приставъ отвѣчаетъ: „Черезъ участокъ можно!“ — „И желаю ей помочь“. — „Черезъ участокъ и это дозволяется“. — „Вотъ рубли отъ чистаго сердца“. — „Отлично. Сидоренко, возьми книгу „Любящихъ свое отечество“ и запиши: „Отъ обывателя, имярекъ, въ пользу раненыхъ внесено пятьдесятъ копеекъ“.

— Позвольте, какъ...

— А ежели вы патріотъ, то и не скандальте въ участкѣ. Сдѣлали доброе дѣло и проходите. Вы свободны! А будете возставать противъ существующихъ властей...

Какъ понять полицейскому, что нельзя любить родину черезъ участокъ, какъ нельзя, напрімѣръ, цѣ-

ловать свою жену при посредствѣ околоточнаго надзирателя?

— Вотъ вы съ нами знаться не хотите. А хорошіе люди полиціей никогда не брезгуютъ!— говорилъ писателю г. Тану полицейскій въ Саратовской, кажется, губерніи, когда г. Тана велъ связаннымъ въ городъ.

Полицейскому участокъ кажется мѣстомъ досто-
почтеннымъ и лѣпообразнымъ.

У полиціи тоже есть патріотизмъ.

Это полицейскій патріотизмъ:

— Любовь къ участку.

И фонъ-Плеве могъ говорить съ мефистофельской улыбкой:

— Кромѣ „общественно-организованной“ помощи, другой не желаете? Ея не будетъ.

И пусть раненные истекаютъ кровью безъ помощи изъ-за вашей „политики“. Любуйтесь.

Околоточные надзиратели часто любятъ носить ме-
фистофельскую бородку.

Это придаетъ имъ „блеску“.

Фраза, которая звучитъ:

— И пускай человѣкъ среди улицы помираетъ. А публикѣ скапливаться не дозволено.

„И пускай“...

Это „пускай“ прозвучало недавно.

Не на одну Русь, а на весь міръ.

Въ одномъ изъ засѣданій министровъ, — цитирую по всѣмъ русскимъ и иностраннымъ газетамъ, — гдѣ шла рѣчь объ „излишествахъ въ разстрѣлахъ“, г. Дурново воскликнулъ:

— Когда домъ горитъ, о разбитыхъ стеклахъ не жалѣютъ!

Вотъ фраза истиннаго полицейскаго, въ которомъ нѣтъ лукавства!

Что такое полицейскій?

Одинъ отставной губернаторъ рассказывалъ мнѣ:

— Былъ у меня полицмейстеръ. Изъ той породы, которые называются „бравыми“. Исполнительъ и сама ревность. Въ городѣ большой пожаръ. Прибѣгаетъ ко мнѣ дама патронесса:

— „Ваше превосходительство! Домъ Силуянова въ огнѣ! Вы все можете!

— „Какого Силуянова?

— „Коровника. Молоко мнѣ поставляетъ. Цѣльное, и честный человѣкъ. Единственный домишко, и не застрахованъ. Прибѣгаетъ ко мнѣ, какъ сумасшедшій: „Просите его превосходительство, чтобъ отстояли. Его превосходительство все можетъ!“ Пожарные у насъ не на высотѣ. Ваше превосходительство, вы все можете!

„Зову полицмейстера по телефону:

— „Домъ Силуянова!

— „Слушаю. Будетъ исполнено.

— „Отнюдь чтобы не сгорѣть!

— „Радъ стараться!

„Самъ на мѣсто полетѣлъ.

— „Домъ Силуянова?

„Показываютъ, — прямо, среди пламени. Домишко деревянный.

— „Всѣ трубы сюда. Отстаивай!

— „Помилуйте, гдѣ жъ отстоять? Сгорить!

— „Знать ничего не хочу! Его превосходительство не приказалъ горѣть.

— „Можетъ заняться!

— „Ломай!

„Силуяновъ въ ноги:

— „Не погубите! Нищимъ пойду!

— „Ломай до основанія! Бревна, доски въ сторону тащи! Чтобъ ни одного полѣна не сгорѣло!

„Силуяновъ молить:

— „Да что жъ это? Да будьте же отцомъ роднымъ!

— „Молчать! Потомъ доски соберешь, опять выстроишь! Ломай!

„И послѣ пожара докладъ мнѣ:

— „Истребленъ такой-то районъ, кромѣ дома Силуянова, каковой огнемъ, согласно распоряженію вашего превосходительства, остался не тронутъ!

„Силуяновъ потомъ прибѣжалъ:

— „Все въ щепки! Ваше...

„Ну, нужно поддержать престижъ власти:

— „Ступай, братецъ! Нельзя же, чтобъ ничего не сломалось даже. Благодарю Бога, что не сгорѣло.

„Къ патронессамъ кинулся. Вездѣ ему:

— „Нельзя, мой другъ, быть такимъ неблагодарнымъ! Иди, иди! Для тебя сдѣлали!

„Всякій престижъ власти охранять долженъ“.

Это не анекдотъ, это фактъ.

Что стекла!

Весь домъ вдребезги! Но сказано, чтобъ не сгорѣлъ, и не сгорить.

Оно, положимъ, Россія храмина такая, — всякій Самсонъ, — какъ не Самсонъ въ баснѣ Крылова, — „съ натуги лопнетъ“, прежде чѣмъ столбы раскачаетъ.

Разрушить этотъ домъ мудрено.

Но стекло набить. Такъ что потомъ долго жить будетъ нельзя. Такъ что долго будетъ не храмина, а мерзость запустѣнія. Это можно.

„Полицейская рука“.

Полицейскіе любятъ пойманному и не сознающемуся кулакъ къ носу поднести:

— Могилой пахнетъ.

Гоголь еще въ „Портретѣ“ сказалъ:

— „Полицейская рука такъ устроена, — до чего ни дотронется, все вдребезги“.

Какъ ни велико сходство между двумя монетами съ одного двора, двумя бывшими директорами департамента полиціи, г. Дурново и Плеве, но есть и большая разница.

Люди одинаковы. Положенія разныя.

При Плеве пожаръ охватилъ всю внутренность овина. Валилъ дымъ. Горѣло гдѣ-то внутри. Гдѣ? Вездѣ. Но огня не показывалось.

И фонъ-Плеве затапывалъ горящій внутри овинъ и полицейскимъ своимъ кричалъ:

— Топчи!

Затапывалъ, самъ все меньше и меньше вѣря, что затопчетъ. Но другихъ мѣръ не принималъ, ибо по полицейскому складу ума другихъ мѣръ не зналъ, а по полицейской совѣсти и не допускалъ.

— Мы — затапыватели!

Затапывалъ до тѣхъ поръ, пока самъ на своемъ затапывательномъ посту не сгорѣлъ.

П. Н. Дурново позванъ въ ту минуту, когда огонь выбился наружу и все въ пламени.

Мнѣ вспоминается сценка, видѣнная когда-то на пожарѣ въ Москвѣ.

Тоже былъ бравый полицмейстеръ.

Домъ горѣлъ, какъ костеръ.

Полицмейстеръ, потерявъ голову, леталъ отъ брендмейстера къ брендмейстеру, отъ брендмейстеровъ къ брендмайору отъ брендмайора къ брендмейстерамъ:

— Что жъ вы не заливаете? Что жъ вы? Срѣтенская! Срѣтенская! Качай! Суцевская! Гдѣ Суцевская?!

Въ толпѣ стоялъ мастеровой и курилъ цыгарку.

— Брось! — налетѣлъ на него вдругъ полицмейстеръ.

Мастеровой даже не понялъ:

— Чего-съ?

— Пожаръ, а ты около куришь!

Полицмейстеръ развернулся.

Цыгарка у мастерового полетѣла въ одну сторону.
Картузъ — въ другую. Самъ мастеровой — въ третью.

— Взя-я-я-ять! — раздался вопль, такой истерическій, словно полицмейстера рѣзали.

По всей странѣ стонъ стоитъ „отъ усердія“:

— Что жъ это дѣлается? Кого хватаютъ? За что хватаютъ?

— Тюремы переполнены!

— Въ больницы сажаютъ!

— Скоро въ женскіе институты сажать будутъ!

— Мѣсяцами арестованныхъ не допрашиваютъ!
Словно боятся: допросятъ, окажется, что ни за что!

— Людей самыхъ умѣренныхъ цапаютъ!

— Людей, которые даже на судѣ кричатъ: „Да здравствуетъ манифестъ 17-го октября“.

Люди ужъ совсѣмъ не либеральнаго образа мыслей вопять:

— Позвольте! Да вѣдь это же значить толкать въ ряды революціи самыхъ умѣренныхъ!

— Что жъ это такое?!

А мнѣ вспоминается потерявшій голову полицмейстеръ.

Тутъ пожаръ, а человѣкъ курить!

— Взя-я-я-ять!

Что жъ полицмейстеръ можетъ противъ огня?

Только разсердиться.

И потерять голову.

— Взя-я-я-ять!

72.000 по тюрьмамъ, больницамъ и прочимъ институтамъ.

Изъ нихъ, навѣрное, 71 тысяча человѣкъ, которые виновны только въ томъ, что курили во время пожара.

Вы скажете:

— Но вѣдь нельзя же сажать ни въ чемъ виновныхъ людей?

Извините меня.

Полиція не судъ.

Она не знаетъ, кто правъ и кто виноватъ.

— Не наше дѣло!

Она знаетъ людей „запротоколенныхъ“ и „незапротоколенныхъ“.

— Незапротоколенного человѣка держать нельзя, а запротоколенного — сколько угодно.

Это азбука участка.

Составилъ протоколъ:

— А тамъ разберутъ!

А сколько народу запротоколить?

Это зависитъ отъ усердія.

Мнѣ вспоминается еще одинъ фактъ, похожій на анекдотъ, потому что онъ случился съ полицейскими.

Дѣло было, когда Дегаевъ убилъ Судейкина.

Дегаевъ скрылся. Исчезъ безслѣдно.

Тогдашнее министерство внутреннихъ дѣлъ рѣшило соблазнить всю Россію поступить въ сыскное отдѣленіе.

Были отпечатаны и вездѣ, — если помните, — развѣшаны плакаты съ крупной надписью:

— 10.000 тому, кто поможетъ задержать Дегаева, 5.000 — кто укажетъ его слѣды.

И тутъ же было приложено шесть портретовъ Дегаева: Дегаевъ съ бородой, Дегаевъ съ одними усами и т. д.

Недѣли не прошло, — въ департаментѣ полиціи...

Гдѣ получилъ государственное воспитаніе П. Н. Дурново...

Получается телеграмма.

Урядникъ изъ какого-то уѣзда Кіевской губерніи увѣдомляетъ:

— Честь имѣю донести, что пятерыхъ Дегаевыхъ задержалъ, а шестого имѣю въ виду.

Вотъ это полицейское усердіе.

Сколько „Дегаевыхъ“ сидитъ по всѣмъ институ-тамъ и сколько еще:

— Имѣется въ виду!

Много!

Даже урядникъ изъ Кіевской губерніи сказалъ бы про П. Н. Дурново:

— Ихъ высокопревосходительство—господинъ усерд-ные.

Изъ какихъ элементовъ состоитъ полицейская на-тура?

Прежде всего:

— Ничего не жаль.

Педагоги говорятъ про „глубокое воспитательное значеніе“ ихъ праздниковъ древонасажденія:

— Кто самъ хоть что-нибудь создалъ, тому жаль всего, созданнаго другими.

А что создала полиція?

У полиціи есть свои святыя.

Святой Растопчинъ.

Самъ Наполеонъ...

Этотъ видалъ войны и истребленія. И Азію и Африку!

Самъ Наполеонъ отступилъ предъ „подвигомъ“ Рас-топчина:

— Сжечь Москву?!?!

Онъ видѣлъ страшнѣйшую изъ войнъ — междо-усобную.

Гдѣ родного брата не жаль.

Но:

— Сжечь Москву!

Если бы кто-нибудь во Франціи предложилъ:

— Сжечь Парижъ!

Его сочли бы сумасшедшимъ.

И, главное, для чего?

Была бы сожжена Москва, нѣтъ,—все равно, лишенная провіанта, въ глубинѣ враждебной страны, съ безконечной, растянутой въ ниточку коммуникаціонной линіей съ разоренными областями въ тылу,—„великая армія“, какъ признають военные историки, была обречена на гибель.

— Какая азіатчина!—воскликнулъ Наполеонъ.

Онъ ошибался.

Это былъ не азіатъ.

Это былъ полицейскій.

— Сломать домъ, чтобы не сгорѣлъ!

И какой полицейскій умъ не мечтаетъ быть Растопчинымъ!

Сжечь не то что одинъ кварталъ... А всю Москву!

— Какъ Растопчинъ-съ!

Хоть всю страну!

Чтобъ отпартовать:

— Тишина и спокойствіе возстановлены.

И получить въ отвѣтъ:

— Настоящій Растопчинъ.

А одинъ какой-нибудь кварталъ!

Это только молебень святому Растопчину!

Со стороны людей, мечтающихъ быть „вторыми Растопчинными“.

Ничего не жаль!

Ни того, что добыто людскимъ трудомъ и потомъ: имущества, добра.

Ни того, что дано Господомъ Богомъ: человѣческихъ жизней.

Зовите это, какъ хотите:

— Глупой жестокостью.

Это просто бездушіе евнуховъ.

Человѣку, который ничего не можетъ создать, ничего не жаль.

Вы не понимаете.

Второй главный элементъ полицейской натуры:

— Вѣра въ то, что полиція все можетъ.

Императоръ Николай I, говорятъ, въ минуту раздраженія, воскликнулъ въ какомъ-то университетѣ:

— Кто будетъ читать философію? Вотъ!

И указалъ на исправника.

И исправникъ сталъ читать философію.

И бравому полиціанту ни разу, конечно, не пришла въ голову мысль:

— Можетъ ли онъ дѣлать то, что онъ дѣлаетъ?

Полицейскій-то?!

Разъ приказано?!

И тутъ есть полицейскіе святыя.

Святой Аракчеевъ.

— Позвольте! — возразять. — Это уже мечтатель казармы!

Замѣчаніе, которое странно слышать, — особенно въ наши дни.

Далеко ли отстоятъ казарма отъ участка?

И не каждый ли день это разстояніе уменьшается?

И существуетъ ли оно еще?

Человѣкъ, въ талѣ перетянутый какъ оса. По формѣ! Съ лицомъ бульдога. Съ неподвижнымъ взглядомъ очковой змѣи. (Я пишу портретъ Аракчеева!)

Его идеаль:

— Тишина и спокойствіе. Ранжиръ! Россія, превращенная въ „военныя поселенія“. Всѣ по барабану въ одинъ часъ встаютъ. Всѣ по барабану въ одинъ часъ ложатся. Даже бабы въ одинъ часъ печи по барабану затапливаютъ! И два ряда дымовъ, какъ двѣ шеренги солдатъ, стройно поднимаются, вдоль

улицы, къ утреннему небу, какъ бы славя Творца, подающаго намъ хлѣбъ! И вездѣ готовится одно и то же. Не зачѣмъ тишину и порядокъ нарушать, въ гости другъ къ другу ходить, въ домахъ скапливаться!

Развѣ это не полицейскій идеаль?

Не идеаль той полиціи, которая теперь ежедневно по всей Россіи ходитъ къ обывателямъ на именины:

— По какому случаю сборище? По случаю именинъ?! Должны были предупредить полицію, что собирается быть именинникомъ! Потрудитесь разойтись.

Аракчеевъ писалъ свой „приказъ по бабамъ“.

Въ военныхъ поселеніяхъ:

— Што кагда стряпать.

„Впанедельникъ — гарохъ.

„Ва вторнекъ — пахлепку.

„Всреду—шти сгалавизнай“...

Говорятъ, приближенный осмѣлился его спросить:

— А если, ваше сіятельство, у кого головизны для штей нѣтъ?

Святой Аракчеевъ подумалъ три секунды и отвѣтилъ:

— Драть!

Прикажите и сейчасъ сарапульскому, скажемъ, исправнику:

— Чтобъ всѣ обыватели по воскресеньямъ пекли и ѣли пироги съ визигой.

И въ ближайшій понедѣльникъ изъ Сарапула по телеграфу получитъ увѣдомленіе:

— Вчера пироги были выпечены по циркуляру. Лица, не имѣвшія визиги, заключены въ тюремный замокъ. Жду дальнѣйшихъ распоряженій, какъ съ ними поступить: разстрѣлять или сѣчь.

И это, если сарапульскій исправникъ — я не знаю, каковъ онъ тамъ — полицейскій не достаточно исполнительный.

Исполнительный телеграфируетъ просто и кратко:
— Безвизижные разстрѣляны.

И въ телеграммахъ „Россійскаго Агентства“ мы прочтемъ умилительную телеграмму:

Сарапуль. Вчера, по случаю воскреснаго дня, впервые отъ сотворенія міра улицы нашего города наполнились благоуханіемъ. Попеченіемъ мѣстнаго начальства во всѣхъ домахъ старательно выпечены пироги съ визигой. Обыватели славятъ Творца и исправника.

А ежели кто пирога съ визигой не переносить?

Все равно, ѣлъ.

Черезъ околоточнаго надзирателя ѣлъ.

— Потрудитесь принять въ ротъ два куска!

— Не могу!

— Потрудитесь!

— Не могу!

— Сидоренко, разожми господину челюсти!

— Да я пощусь!

— Безъ разрѣшенія полицейскаго начальства по-
ститься не приказано. Сидоренко, нажми большими
пальцами господину на суставы. Вотъ такъ! Теперь
оботри господину губы салфеткой.

Но если это превышеніе власти?

Третій элементъ, изъ котораго составлена не слож-
ная полицейская натура:

— Сила отписки.

На этомъ стоитъ вся полицейская душа.

Въ этомъ все полицейское воспитаніе.

Въ этомъ воспитывалъ высшую полицію первый
департаментъ Сената.

Градоначальникъ дѣлалъ распоряженіе.

Обыватель на это распоряженіе жаловался въ
Сенатъ.

Только наивный обыватель!

Умудренный такихъ пустыхъ бумагъ не писалъ.

Онъ зналъ:

Бумагу, которую я напишу, Сенатъ пошлетъ „для дачи объясненія“ градоначальнику. А ужъ что тамъ градоначальникъ-то про меня въ своемъ „объясненіи“ Сенату напишетъ, — этого я не увижу никогда. Зачѣмъ же еще, чтобъ меня предъ сенаторами срамили?

Потому и цѣнились „дѣльные“ правители канцелярій:

— Который отписаться умѣетъ.

Приведу для наглядности примѣръ.

Фирма „Князь Юрій Гагаринъ“ въ Одессѣ имѣла какой-то мелкій вексель на какого-то торговца.

По обычаю, взысканіе по векселю было передано какому-то мелкому ходатаю, еврею, — и, какъ всегда, чтобъ избѣжать процедуры выдачи довѣренности, вексель якобы былъ переданъ въ собственность.

Поставленъ безоборотный бланкъ.

— Ваыскивай отъ своего имени.

Документъ безспорный.

Но у должника была рука въ канцеляріи градоначальника, тоже адмирала, г. Зеленаго.

Градоначальникъ вызвалъ повѣреннаго къ себѣ.

И документъ оказался уничтоженнымъ...

Фирма „Князь Юрій Гагаринъ“ подала жалобу на градоначальника въ первый департаментъ Сената.

— Градоначальникъ разорвалъ вексель, переуступленный фирмой такому-то. Какое же довѣріе будетъ къ фирмѣ, если векселя ея будутъ рваться.

Сенатъ препроводилъ жалобу градоначальнику для объясненій.

И „дѣльный“ правитель канцеляріи отписался.

Къ счастью, въ Сенатѣ, кромѣ сенаторовъ, есть и писцы.

Иначе простымъ, смертнымъ никогда бы не знать, что творится тамъ, на этомъ Синаѣ, за густыми тучами великой канцелярской тайны.

Вѣтренные писцы иногда раздвигаютъ эти тучи, и тогда мы можемъ любоваться вершинами государственнаго управленія!

Градоначальникъ, перомъ „дѣльнаго“ правителя канцеляріи, писалъ въ объясненіе „происшествія“:

— Неправда. Градоначальникъ никогда векселей не рвалъ. Дѣло было вотъ какъ. Зная должника за чело-вѣка бѣднаго, градоначальникъ призвалъ къ себѣ владѣльца векселя, еврея такого-то, и мягко и кротко увѣщавалъ его повременить со взысканіемъ.

Градоначальникъ Зеленый, мягко и кротко бесѣдующій съ евреемъ,—это должно было произвести сильное впечатлѣніе въ Одессѣ!

И дѣйствительно:

Слова его превосходительства о бѣдственномъ положеніи должника настолько подѣйствовали на держателя векселя, что тотъ не только рѣшилъ отсрочить, но даже простить долгъ бѣдному должнику. И тутъ же, по собственному почину, разорвалъ вексель.

Взыскатель, рвущій векселя, — тоже явленіе очень обычное въ Одессѣ!

И въ результатъ такой идилліи, — въ объясненіи спрашивалось:

— Чего же фирма „Князь Юрій Гагаринъ“ жалуется? Она вѣдь ничего не потеряла: вексель принадлежалъ не ей. Кто могъ бы считаться потерпѣвшимъ, если бы онъ нашелъ какія-нибудь неправильности въ дѣйствіяхъ градоначальника,—такъ это еврей, держатель векселя. Но и его жалоба должна бы остаться безъ разсмотрѣнія: пока фирма „Князь Юрій Гагаринъ“ неправильно жаловалась въ Сенатъ и шли объясненія, держатель векселя, единственный, кто могъ бы жало-

ваться, пропустилъ законный срокъ для подачи жалобы на дѣйствія градоначальника.

И резолюція Сената:

— Жалобу фирмы „Князь Юрій Гагаринъ“ оставить безъ разсмотрѣнія, потому что, уступивъ вексель другому, она является къ дѣлу лицомъ непричастнымъ. А отъ потерпѣвшаго жалобы въ законный срокъ принесено не было. Дѣло прекратить.

Такова сила „отписки“.

Въ этомъ воспитана русская полиція ея „страшнымъ (!) судьей“:

— Первымъ департаментомъ Сената.

И что жъ удивительнаго, что бывший директоръ департамента полиціи...

Не слышится ли вамъ той же „отписки“ въ инцидентѣ, еще на-дняхъ разыгравшемся въ пріемной министра внутреннихъ дѣлъ?

Представлялась какая-то депутація.

Кажется, конституціонно-демократической партіи.

И сдѣлала заявленіе, что:

— Многие члены этой партіи, самые невинные, подвергаются аресту. За что?

Г. Дурново сдѣлалъ удивленное лицо.

И заявилъ, что такіе аресты производятся, конечно, безъ его вѣдома, онъ о нихъ не знаетъ, а когда узнаетъ — немедленно отмѣняетъ.

Весь міръ. Умѣстно ли тутъ говорить о цивилизованныхъ?

Весь нецивилизованный міръ знаетъ, что у насъ сажаютъ людей и томятъ ихъ въ тюрьмахъ ни за что ни про что.

Спросите у негра въ Трансваалѣ, у сингалеза на Цейлонѣ, у гавайца на Сандвичевыхъ островахъ:

— Хватаютъ въ Россіи кого ни попало?

Всякій оскалитъ свои сверкающіе зубы и даже прищелкнетъ языкомъ:

— О-го-го!

— Кто это дѣлаетъ?

— Мастэры полиціе!

Самъ не читалъ, — слышалъ, какъ бѣлые джентльмены въ газетахъ каждый день читаютъ.

И во всемъ мірѣ одинъ только человѣкъ объ этомъ ничего не знаетъ.

И какая роковая для насъ случайность: этотъ человѣкъ — начальникъ русской полиціи!!!

Не слышится вамъ въ этомъ „отписки“:

— Да у меня и бумагъ такихъ нѣту!

Хоть въ столахъ во всѣхъ пересмотрите!

— Нѣтъ такихъ донесеній. Значить, я ничего не знаю.

Не доказательство?!

Чувствуетъ бывшій директоръ департамента полиціи, чувствуетъ смущенной душой, что въ воздухѣ пахнетъ чѣмъ-то новымъ.

Словно какое-то новое начальство народилось.

— Какой-то „второй первый департаментъ Сената“!

Общественное мнѣніе.

Ему нужно отчетъ давать!

Судить!!!

И бывшій начальникъ департамента полиціи пробуетъ и отъ общественнаго мнѣнія бумагами отгородиться.

— Бумагъ такихъ ко мнѣ не поступало. Значить, не знаю-съ.

Не правъ?

„Жестъ страуса“!

Онъ даже трогателенъ въ своей наивности.

Вотъ истинный полицейскій жестъ!

Я говорю:

— Полицейскій!

Потому что этимъ опредѣляется все.

„Поллицейскій...“ — это заслоняетъ все. И никакія личныя качества, личныя особенности не играютъ никакой роли.

Личныя особенности!

Въ одномъ изъ южныхъ городовъ я былъ свидѣтелемъ допроса погромщиковъ послѣ еврейскаго погрома.

Погромщиковъ было задержано много. Съ допросомъ надо было торопиться.

Приставъ,—статный мужчина, талья въ рюмочку, усы въ фиксауарѣ стрѣлами, глаза на выкатъ, какъ у рака, Адонисъ полицейской красоты, — ходилъ по кабинету. На столѣ лежала нагайка.

Вводили задержаннаго.

— Какъ зовутъ?

— Иванъ Ивановъ!

— Чѣмъ занимаешься?

— Въ порту рабочій.

— Повернись спиной!

— Какъ?

— Спиной повернись, тетеря!

И приставъ вытягивалъ его вдоль спины нагайкой.

Иванъ Ивановъ не своимъ голосомъ вопилъ.

Приставъ, побивъ, говоритъ, показывая руку, убрannую перстнями:

— У меня рука извѣстная.

Иванъ Ивановъ весь корчился.

— Отпустить! Не погромщикъ. Слѣдующаго!

Входилъ слѣдующій.

— Какъ звать?

— Сидоръ Сидоровъ.

— Занятіе?

— Въ порту рабочій.

— Стань спиной!

И снова нагайка.

Сидоръ Сидоровъ вскрикивалъ. Но „не особенно“.

— Какъ будто больше отъ неожиданности, чѣмъ отъ прочаго!—какъ пояснялъ приставъ.

Снова нагайка.

И снова:

— Нѣтъ достаточнаго звука!

Это приставъ называлъ:

— Добывать изъ человѣка настоящій голосъ!

Приставъ командовалъ:

— Рубашку снимай.

— Какъ?

— Рубашку снимай. Слышалъ?

Сидоръ Сидоровъ снималъ рубаху и... оставался въ другой.

— И эту снимай!

Сидоръ Сидоровъ снималъ вторую, но подъ ней оказывалась третья. Дальше шли двѣ-три вязаныхъ фуфайки.

— Погромщикъ. Въ арестную.

— Помилуйте, ваше высокородіе! Будьте милостивы! Какой я погромщикъ? Да не пальцемъ!.. Какъ передъ Истиннымъ. Шелъ,—ребята бають, остановился посмотришь, меня вмѣстѣ съ другими и забрали. Ваше высокородіе, явите начальническую милость!

— Пой! А „слоеный“ зачѣмъ? Зачѣмъ столько рубахъ надѣлъ?

Сидоръ Сидоровъ нѣсколько смутился.

Но находился:

— Ваше высокородіе! Время праздничное. Второй день святой Пасхи!

— Такъ въ нѣсколькихъ рубахахъ щеголяешь?

— Не то, а народъ пьяный, ваше высокородіе! Черезъ это! Дома оставлять боязно. Того гляди, стащатъ!

Безо всего пойдешь. Все на себя и одѣль, что было. Для безопаски.

— Мы эти речитативы-то слышали! Прибрать!

И приставъ самодовольно пояснялъ:

— Это обычная предосторожность. Практикой ихней выработано. Они, когда на погромъ идутъ, такъ нарочно на себя всѣ рубахи, какія есть, надѣваютъ, — казаки хлестать будутъ, такъ чтобы не больно было! Я ихъ „психологію“ вотъ какъ знаю. Слѣдующаго!

Я попробовалъ замѣтить приставу:

— Но вѣдь то, что вы дѣлаете, называется „пыткой при дознаніи“.

Онъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ:

— Да развѣ они это понимаютъ?

А въ тотъ же вечеръ въ ресторанѣ я услыхалъ, что кто-то въ кабинетѣ пѣлъ:

Помолись, милый другъ, за меня!

Пѣлъ съ величайшимъ чувствомъ:

Много въ жизни пришлось мнѣ
Кружиться...

Пѣлъ съ израженіемъ:

Не моггу я ужъ больше
Ммолиться...

Со слезой!

— Кто это у васъ, такъ надрывается?—спросилъ я у лакея.

Лакей осклабился:

— А это г. приставъ... Чудесно поютъ, хотъ и по счетамъ не платятъ. Большое удовольствіе!

И онъ назвалъ мнѣ того самаго пристава, который утромъ занимался въ участкѣ „психологіей“.

Приставъ на слѣдующій день самъ „сознавался“ мнѣ:

— Слабость! Только и мечтаю,—вотъ всѣ эти допросы кончу,—въ Одессу поѣхать: г. Фигнера въ „Онѣгинѣ“ послушать. „Куда, куда вы удалились!“ Ахъ!

Но добавлялъ:

— Хотя истинная моя симпатія... Не патріотично, можетъ-быть. Но итальянцы! Какъ, подлецы, поютъ! Арамбуро, напрімѣръ, мерзавецъ! „Лючіо“ или „La donna е mobile“. Что жъ это такое? Наши, — что подѣлаешь! Тужатся. А итальянецъ! Какъ птица, подлецъ, поетъ. Словно для своего удовольствія! Самъ каждой нотой любитъ! Свободно, легко. Истинное „бэль-канто“ только у итальянцевъ и найдешь! Прямо скажу: только и живу, когда оперу слушаю. Да самъ вотъ еще споешь. Сердце на волю отпустишь. Пусть полетаетъ!

И чуть не со слезами на глазахъ пояснялъ:

— Мнѣ бы по склонностямъ въ консерваторію слѣдовало. Можетъ бы, міръ чароваль. Да папенька былъ человѣкъ строгій: въ участокъ въ писаря отдалъ. Теперь бы и могъ, конечно, учиться. Да поздно. Верхи тремоліруютъ. Да и въ среднемъ регистрѣ проваль. Служба. Стоишь на холодѣ у подъѣзда въ театрѣ и „до“ теряешь. Развѣ эта служба для тенора? Слѣдующій!

И человѣкъ съ такими тонкими музыкальными вкусами былъ приставомъ. И какимъ!

Умень, нѣтъ, грубъ, нѣженъ, жестокъ,—все это не играетъ ни малѣйшей роли.

Ложка, вилка, запонка, поступая на монетный дворъ,—все превращается въ двугривенные.

И изъ человѣка, поступающаго въ полицію, вытравляется всякая лигатура и остается одинъ чистый:

— Полицейскій.

Щекотливый вопросъ о личныхъ качествахъ, достоинствахъ, недостаткахъ тутъ можно оставить.

Надо заниматься, „говоря зоологически“:

— Видомъ, а не особью.

А, каковъ человѣкъ? Кѣмъ онъ былъ раньше?

Возьмемъ Расплюева.

Расплюевъ „Свадьбы Кречинскаго“ и Расплюевъ „Веселыхъ Расплюевскихъ дней“.

Бывшій шулеръ.

Самъ отъ полиціи за диванъ прятался:

— Михайлъ Васильевичъ, полиція!!!

А поступилъ въ квартальные.

Какимъ совершеннымъ полицейскимъ сдѣлался!

Вышіе административные восторги вкушать сталъ способенъ!

Въ административномъ экстазѣ восклицаетъ:

— Всѣхъ! Всю Россію подозреваю!

Не самое ли современное полицейское рвеніе:

— Всю Россію подозреваю!

Хоть сейчасъ его!

Какъ скрипка въ футляръ войдетъ въ наше время.

И если бы это не были „Веселые Малютины дни“, — какъ бы не назвать ихъ:

„Веселыми Расплюевскими днями“.

Какъ происходитъ въ участкѣ это таинственное превращеніе человѣка въ плоть и кровь полицейскаго?

Мистерія.

Юги въ Индіи говорятъ, что чтеніе мыслей на разстояніи зависитъ отъ того, что мысль производитъ извѣстныя колебанія въ эфирѣ, который находится между атомами воздуха.

— И человѣкъ, не потерявшій такой чувствительности мозговой ткани, воспринимаетъ эти колебанія эеира и такимъ образомъ читаетъ чужія мысли.

Мысли дрожать въ воздухѣ.

И воздухъ полонъ мыслей. Онѣ носятся въ немъ, какъ цвѣточная пыль весною. И оплодотворяютъ человѣческія головы, какъ цвѣточные головки.

Поэтому іюги совѣтуютъ:

— Каждый человѣкъ долженъ имѣть въ своемъ жилищѣ такую свѣтлую и пріятную комнату, куда сначала онъ долженъ заходить въ добромъ и пріятномъ настроеніи духа, съ легкимъ сердцемъ. И предаваться тамъ мыслямъ свѣтлымъ и хорошимъ. Наполнять воздухъ добрыми колебаніями ээира и дрожью ясныхъ мыслей. Потомъ онъ можетъ входить въ эту комнату и тогда, когда ищетъ душевнаго покоя. Онъ замѣтитъ, какъ въ этой комнатѣ онъ успокоивается и становится лучше. Это добрыя колебанія ээира, которыми онъ наполнилъ когда-то эту комнату, сообщаютъ его мозгу свѣтлыя и радостныя мысли.

Іюги говорятъ:

— Такъ объясняется невольное благоговѣйное настроеніе, которое васъ охватываетъ, когда вы входите въ какой бы то ни было храмъ, совсѣмъ чуждой даже для васъ религіи. И то ощущеніе безотчетной грусти, которое охватываетъ васъ на кладбищѣ даже чуждаго вамъ племени. Какъ будто кто-то изъ вашихъ близкихъ лежитъ здѣсь! Это разлиты въ воздухъ колебанія ээира, дрожать мысли тѣхъ, кто здѣсь молился и рыдалъ. И вы думаете ихъ мыслями!

И іюги считаютъ поэтому храмъ, оскверненный насиліемъ, болѣе не храмомъ:

— Въ его воздухъ остались и дрожать и заражаютъ входящихъ мысли ненависти и зла!

Можетъ-быть, такъ же и въ участкѣ?

Полицейскія колебанія ээира?

Но чѣмъ бы раньше ни былъ и чѣмъ бы ни занимался раньше человѣкъ, войдя въ полицію, онъ становится, какъ двугривенный на двугривенный, похожъ на всѣхъ полицейскихъ, настоящихъ, прошедшихъ и будущихъ!

И полицейскій, который сказалъ бы: „Я выдумалъ

нѣчто полицейски - новое!“ — хвалился бы невозможнымъ.

Ничто не ново подъ полицейской луной.

Еще на-дняхъ весь цивилизованный міръ съ содроганіемъ отъ ужаса — ну, и отъ другихъ, конечно, чувствъ!—прочелъ бесѣду одного изъ ревностнѣйшихъ администраторовъ г-на Дурново съ французскимъ журналистомъ.

— Полиція, значитъ, не знала, что въ Москвѣ въ декабрѣ готовится вооруженное возстаніе? Не предупредила!

— Нѣтъ, знала заранѣе.

— Какъ же такъ? — сталъ втупикъ французскій журналистъ.

Администраторъ помолчалъ съ минуту и отвѣтилъ, какъ говоритъ журналистъ, потирая руки, „четыре слова“:

— On a laissé passer.

По-русски будетъ два слова:

— Допустили нарочно.

Всему міру показалось:

— Страшно.

Но полицейски старо.

Боже мой, какъ полицейски старо!

Покойный А. П. Лукинъ рассказывалъ мнѣ какъ анекдотъ свою бесѣду съ покойнымъ Н. И. Огаревымъ.

Вы помните эту фигуру доисторическаго полицеймейстера Москвы?

Грандіозные усы съ подусниками.

„Старо-полицейскіе“.

Какіе и росли только у однихъ старыхъ полицеймейстеровъ.

Свирѣпое лицо, и добродушнѣйшее существо.

И при этомъ простъ,—чтобъ не сказать о покойникѣ иначе,—до анекдотичности.

Въ простотѣ душевной онъ говорилъ либералу-журналисту:

— Удивляюсь, все кричать: „Революціонеры! Революціонеры!“ Боятся: „баррикады!“ Сразу можно со всѣми революціонерами покончить!

— Какъ такъ?

— Очень просто! Выстроить имъ баррикады. Полицейскими мѣрами! А какъ они на эти баррикады выйдутъ, — всѣхъ ихъ и застрѣлить! И конецъ!

— Зачѣмъ же они тогда на баррикады пойдутъ, если будутъ знать, что ихъ всѣхъ застрѣлятъ?

Бѣдный Огаревъ такъ и остался съ открытымъ ртомъ:

— Н-да!

Видите, — мысль нова, какъ участокъ!

Только тогда можно было сказать:

— Зачѣмъ же пойдутъ?

А теперь пошли.

И Огаревскій анекдотъ превратился въ..... фактъ.

И на томъ свѣтѣ Огаревъ долженъ торжествующе спросить бѣднаго Лукина:

— Что-съ?

Если только даже на томъ свѣтѣ полицейскихъ и прочихъ людей держать въ одномъ и томъ же мѣстѣ.

„Витте и Дурново“.

Это наши политическіе:

„Мюръ и Мерилизъ“.

На нашихъ восточныхъ окраинахъ есть тоже такая фирма:

— Кунстъ и Альберсъ.

И владивостокская дама, въ отвѣтъ на атаку моряка, — моряки на сушѣ всегда побѣдители! — говорить, потупляя глазки:

— Ахъ! Нѣтъ! Что вы? Конечно, я буду завтра въ два часа гулять у могилы Кунста и Альберса. Но вы не вадумайте приходить!

„Могила Кунста и Альберса“, — такъ всѣ и зовутъ.

Но кто въ ней похороненъ:

— Кунстъ или Альберсъ?

Не знаетъ никто.

„Витте и Дурново“.

Кто изъ нихъ Мюръ и кто Мерилизъ?

Но это, какъ извѣстно, было не всегда.

Графъ С. Ю. Витте очень извинялся:

— Что жъ прикажете дѣлать? По Министерству Внутреннихъ Дѣлъ масса бумагъ. Все это знаетъ одинъ П. Н. Дурново. Надо было оставить его. А предложить ему меньше министра...

Г. Дурново надоѣло быть вѣчнымъ:

— Товарищемъ.

Это что-то въ родъ вѣчной невѣсты!

Только швейцары въ министерствахъ безсмѣнны:

— Министры при насъ мѣняются. Мы остаемся!

И предложить г. Дурново меньше министра:

— Было неудобно. Онъ бы не пошелъ.

Не особенно лестно!

И московская депутація выслушивала въ концѣ октября это „душевное прискорбіе“ графа Витте со знаками сожалѣнія.

Съ тѣхъ поръ много воды утекло. Да и не одной воды...

Я не знаю, въ какой формѣ графъ Витте бралъ потомъ предъ г. Дурново свои слова назадъ.

Да и предусмотрѣлъ ли Германъ Гоппе въ своемъ „хорошемъ тонѣ“ такую форму.

— Какъ долженъ премьеръ-министръ извиняться передъ другимъ министромъ, по поводу вступленія

котораго въ министерство онъ выражалъ „душевное прискорбіе“ и дружбы коего онъ нынѣ ищетъ?

Вопросъ политичный.

Но я знаю, что графъ Витте совершенно напрасно извинялся тогда предъ московской депутаціей за г. Дурново:

— Хоть и г. Дурново, но будетъ хорошее министерство!

Это было логично. Естественно.

Больше:

— Неизбѣжно.

„Исторично“.

Въ трудныя времена всегда призывается министр изъ департамента полиціи.

Послѣ смерти Сипягина моментъ былъ трудный!

Призвали фонъ-Плеве.

Послѣ обморока — не смерти! — стараго режима насталь моментъ трудный!

Призвали Дурново.

Что такое полиція?

Еще Гоголь называлъ русскаго полицейскаго:

— Дантистомъ.

Полицейское дѣло — дѣло хирургическое.

Что такое у насъ полиція?

Въ старинныхъ барскихъ имѣніяхъ всегда имѣлся:

— Домашній врачъ.

Полуконоваль, полуцырюльникъ.

Въ общемъ:

— Фельдшеръ.

Лѣчилъ всѣхъ, отъ барыни до коровы.

Средство зналъ одно:

— Кровь отворить.

Лѣчилъ имъ ото всего.

Отъ заваловъ и простуды, коликъ и меланхоліи.

Вѣжливенько наклонялся къ уху, стараясь не дышать въ лицо, и тайноспренно спрашивалъ:

— Стулъ имѣли?

— Нѣтъ!

Крѡвь отворялъ.

— О-го-го!

Тоже кровь отворялъ.

И барыня была въ восторгѣ отъ своего „домашняго“.

— Лучше всякихъ ученыхъ помогаетъ!

Времена были простыя, телятина хорошая, куръ и масла вдоволь, солонина не покупная.

Барыня была, дай ей Богъ, упитанная,—и сколько Гаврилычъ барынѣ кровь ни бросалъ,—какъ съ гуся вода.

Блѣднѣла, но жила.

Иногда пріѣхавшій на вскрытіе „найденнаго по случаю храмоваго праздника мертваго тѣла“ изъ города нѣмецъ - докторъ спрашивалъ помогавшаго потрошить Гаврилыча:

— Развѣ такъ можнѣ, Гаврилійшъ, барининѣ крофѣ безъ всякій счетъ бросайтъ?

Гаврилычъ отвѣчалъ спокойно и гвердо:

— Ништо! Новыя мяса нагуляетъ!

И вотъ однажды матушкѣ-барынѣ случилось худо совсѣмъ.

Не колики, не изжога, не вѣтры и не подѣ ложечкой.

А совсѣмъ дрянъ.

Окружающіе робко совѣтовали:

— Верхового бы въ городѣ послать. Докторъ нуженъ!

Но барыня только отмахивалась:

— Ну, ихъ, ученыхъ! Начнетъ еще мудрить! Гаврилычъ на что? Позовите Гаврилыча. Пусть кровь отворить!

Гаврилычъ пришелъ и, какъ всегда, кровь „бросилъ“.

Но случай исключительный. „Бросилъ“ больше.

А черезъ три дня въ горницахъ стараго барскаго дома, кромѣ обычныхъ тмина, аниса и мяты, пахло еще и ладаномъ...

И прискакавшій „изъ губерніи“ двоюродный племянникъ...

Тетя умерла, не успѣла составить духовной и „упомянуть“ двоюроднаго племянша.

Двоюродный племянникъ, прищучивъ Гаврилыча въ темномъ углу, тыкалъ его „кавалерійскимъ кулакомъ“ въ зубы:

— Ты что жъ это, распроаноема? Тетеньку на тотъ свѣтъ отправилъ?!

А Гаврилычъ въ смущеніи чесалъ затылокъ и съ тоской говорилъ:

— Мы что жъ! Нешто наше дѣло! Мы — коновалы!

Полиція, — „дантисты“, — всегда была у насъ своимъ, домашнимъ, „симпатическимъ“ средствомъ.

Какими бы болѣзнями ни заболѣвало Россійское государство:

— Полицію!

Расколъ.

Трудный вопросъ.

Богословскихъ споровъ дѣло.

— Полицію!

И полиція знала одно средство:

— Бросить кровь!

— Двумя персты крестись? Драть.

— По какому случаю брака избѣгаешь? А-а! Необходимыхъ принадлежностей не имѣешь? Драть!

— По „убѣжденію“ въ наборъ не идешь? Драть!

Аграрныя волненія.

— Полицію.

— Кровь бросить!

Соціализмъ.

— Полицію!

— Кровь бросить!

Полиція лѣчила ото всего.

Отъ малоземелья, отъ сомнѣній въ церковныхъ догматахъ, отъ фанатизма и увлеченія „западными утопіями“.

И все однимъ средствомъ.

— Все дурная кровь-съ играетъ. Надо ее „бросить“!

И вотъ насталь, дѣйствительно, рѣшительный моментъ.

Страна съ трудомъ дышитъ.

— Знающихъ?..

— Ну, ихъ, этихъ ученыхъ! Еще мудрить начнутъ?

Неизбѣжно!

Исторически неизбѣжно, чтобы призвали своего „испытаннаго“, Гаврилыча.

— Гаврилычъ на что?

Всегда помогалъ. Во всѣхъ случаяхъ.

И Гаврилычъ знаетъ одно средство:

— Кровь отворить!

Испытанное!

Всегда помогало!

Но ее столько „бросали“, что теперь каждая капля на счету. Каждая капля нужна, чтобъ за жизнь бороться!

Развѣ Гаврилычъ знаетъ медицину?

Отворилъ.

Случай исключительный. Значить, нужно „бросить“ больше.

И когда черезъ нѣсколько дней Гаврилычъ будетъ чесать въ затылкѣ:

— Нешто наше дѣло? Мы...

Его ли надо обвинять или тѣхъ кто его призвалъ?

Тогда ужъ никакія извиненія графа Мюра не помогутъ.

Великая въ жестокости и страшная въ нелѣпности своей царитъ надъ родимой страной богиня, — имя ей:

— Тишина и спокойствіе.

Не глубокій, внутренній покой отъ довольства жизнью.

А только наружное „спокойствіе“.

— Пусть всѣ молчать!

Чтобъ можно было отрапортовать:

— Бо благоденствуютъ!

Ни звука!

— Рыдайте, но про себя!

Тишина кладбища, гдѣ тоже ни звука.

Богиня кладбища, — она распростерла свои крылья надъ живою страной.

Какъ индійская богиня Кали, — ея шея тоже украшена ожерельемъ изъ человѣческихъ череповъ.

Она выдумана полиціей, и, выдумавъ ее, ея браманы, полиція, сами повѣрили въ ея существованіе и въ возможность ея пришествія на землю.

— Ея храмы разбросаны всюду.

Ея капища — участки.

Ея браманы на каждомъ перекресткѣ.

И что такое бѣдный министръ внутреннихъ дѣлъ?

Ея первосвященникъ.

Первосвященникъ богини — мѣа.

Первосвященникъ религіи не существующей, ложной богини, пришествіе которой на землю невозможно.

Какія бы гекатомбы человѣческихъ жертвъ ей ни приносились съ мольбою:

— Приди! Приди!

Которой пришествіе въ жизнь невозможно потому, что она приходитъ только къ мертвымъ.

И даже если заживо заколотить живого человѣка въ гробъ, — онъ и въ гробу не будетъ выказывать „тишины и спокойствія“.

Я видѣлъ ужаснѣйшій изъ храмовъ богини Кали, которой приносились когда-то человѣческія жертвы.

Старый Джейпуръ, въ Индіи.

Городъ среди скалъ.

Жители принесли въ жертву богинѣ все, что имѣли.

Покинули свои жилища и ушли.

Городъ пустъ.

Ни шороха.

Среди скалъ груды развалинъ мертваго города.

И среди разрушающихся домовъ — капище богини.

Два звука.

Звонъ небольшого колокола, которымъ призываютъ вниманіе богини къ жертвѣ.

И предсмертный крикъ козы, которой отрубаятъ голову, принося кровавую жертву каждое утро въ капищѣ богини, среди развалинъ мертваго города.

И богиня, шея которой украшена не козьими, а человѣческими черепами, съ страшнымъ и тупымъ лицомъ, имѣетъ видъ униженной и оскорбленной.

Вмѣсто людей, ей приносятъ въ жертву козъ.

Она побѣждена временемъ.

И среди побѣднаго, мертваго, молчанія брошеннаго ей города, она все же чувствуетъ себя побѣжденной.

Я думаю, что въ старомъ Джейпурѣ каждый полицейскій сказалъ бы:

— Какая тишина и спокойствіе!

И если бы они были пообразованнѣе, имъ снился бы въ праздничныхъ снахъ старый Джейпуръ.

Но имъ снится нѣчто болѣе „праздничное“...

Напрасно всѣ кругомъ говорятъ:

— Если такъ священна тишина,—вы кощунствуете. Этотъ трескъ пулеметовъ. Эти крики: „пли“, „бей“, „отворяй кровь“!

— Это начальственные звуки! Начальственные звуки тишины не нарушаютъ!

Ихъ особенность.

Околоточный кричить во все горло:

— Осади назадъ!

Это не нарушеніе общественной тишины и спокойствія.

Вы сказали ему такъ тихо, что онъ едва разслышалъ:

— Нельзя ли меньше толкаться?

— Въ участокъ!

Протоколъ:

— Вы нарушили общественную тишину и спокойствіе.

Вотъ вамъ полицейскій...

Что же это, однако?

Я хотѣлъ, пользуясь случаемъ, что П. Н. Дурново сказалъ петербургскимъ журналистамъ: „Можете судить меня какъ вамъ угодно!“ — написать характеристику П. Н. Дурново, а написалъ этюдъ полицейской души?!

Думаю, что тотъ—кромѣ цензоровъ,—у кого хватитъ терпѣнія прочесть статью съ начала до конца, оправдаетъ меня:

— Не все ли это равно?





Stanford University Libraries

3 6105 124 450 003



PG 3460

D67V5

3
225847/1068


Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

--	--	--	--



Stanford University Libraries
3 6105 124 450 003



PG 3460
D67V5

3 -
725847/1069

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

--	--	--

